

L. Akcunob

Сергей Тимофеевич Аксаков

**Воспоминания (Семейная
хроника 3)**
(Библиотека "Огонек ")

Во второй том собраний сочинений входят воспоминания писателя, а также очерки и незавершенные произведения, такие как «Буран», "Наташа", "Очерк зимнего дня" и др.

Содержит цветные иллюстрации.

*Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т.
М., Правда, 1966; (библиотека «Ого-
нек»)
Том 2. — 500 с. — с. 5–157.*

Содержание

ГИМНАЗИЯ Период первый	0004
ГОД В ДЕРЕВНЕ	0103
ГИМНАЗИЯ Период второй	0148
УНИВЕРСИТЕТ	0243
ПРИМЕЧАНИЯ	0314

ГИМНАЗИЯ

Период первый

В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было восемь лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Аристовой, но мы не скоро отыскивали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называющейся «Грузинскою». Мы приехали под вечер в простой рогожной повозке, на тройке своих лошадей (повар и горничная приехали прежде нас); переезд с кормежки сделали большой, долго ездили по городу, расспрашивая о квартире, долго стояли по бестолковости деревенских лакеев, — и я помню, что озяб ужасно, что квартира была холодна, что чай не согрел меня и что я лег спать, дрожа как в лихорадке; еще более помню, что страстно любившая меня мать также дрожала, но не от холода, а от страха, чтоб не простудилось ее любимое дитя, ее Сереженька. Прижавшись к материнскому сердцу и при-

крытый сверх одеяла лисьим, атласным, еще приданым салопом, я согрелся, уснул и проснулся на другой день здоровым, к неопи-санной радости моей встревоженной матери. Сестра моя и брат, оба меня моложе, остались в Симбирской губернии, в богатом селе Чуфарове, у двоюродной тетки моего отца, от которой в будущем ожидали мы наследства; но в настоящее время она не помогала моему отцу ни одной копейкой и заставляла его с семейством терпеть нередко нужду: даже займы не давала ни одного рубля. Не знаю, какие обстоятельства принудили моих родителей, при их стесненном положении в деньгах, приехать в губернский город Казань, но знаю, что это было сделано не для меня, хотя вся моя будущность определилась этой поездкой. Проснувшись на другой день, я был поражен движением на улице; до сих пор я ничего подобного не видывал. Впечатление было так сильно, что я не мог оторваться от окошка. Не удовлетворяясь ответами на мои расспросы приехавшей с нами женщины Параши, которая сама ничего не знала, я добился какой-то хозяйской девушки и мучил ее несколько ча-

сов сряду, задавая иногда такие вопросы, на которые она отвечать не умела. Отец и мать ездили в собор помолиться и еще куда-то, по своим делам, но меня с собою не брали, боясь жестоких крещенских морозов. Обедали они дома, но вечером опять уехали; утомленный новыми впечатлениями, я заснул ранее обыкновенного, болтая и слушая болтовню Параша; но только что разоспался, как ласковая рука той же Параша бережно меня разбудила. Мне сказали, что за мною прислали возок, что мне надобно встать и ехать в гости, где ожидали меня отец и мать. Меня одели в праздничное платье, умыли и причесали, закутали и посадили в возок вместе с тою же Парашей. Вырванный из крепкого ребячьего сна, испуганный таким происшествием, какого со мной никогда не бывало, застенчивый от природы, с замирающим сердцем, с предчувствием чего-то страшного, ехал я по опустевшим городским улицам. Наконец, мы приехали. Параша раздела меня в лакейской, повторила мне на ухо слова, несколько раз сказанные дорогой, чтоб я не робел, довела за руку до гостиной, лакей отворил дверь, и я во-

шел. Блеск свечей и громкие речи так меня смутили, что я остановился как вкопанный у двери. Первый увидел меня отец и сказал: «А вот и рекрут». Я смешался еще более. «Лоб!» — произнес чей-то громовой голос, и мужчина огромного роста поднялся с кресел и пошел ко мне. Я так перепугался, ибо понимал страшный смысл этого слова, что почти без памяти бросился бежать. Громкий хохот всех присутствующих остановил меня, но матери моей не понравилась эта шутка: материнское сердце возмутилось испугом своего дитяти; она бросилась ко мне, обняла меня, ободряла словами и ласками, и, поплакав, я скоро успокоился. Теперь надобно рассказать, куда привезли меня: это был дом старинных друзей моего отца и матери, Максима Дмитрича и Елизаветы Алексеевны Княжевичей, которые прежде несколько лет жили в Уфе, где Максим Дмитрич служил губернским прокурором (вместе с моим отцом) и откуда он переехал, также прокурором, на службу в Казань. Максим Дмитрич еще в молодости выехал из Сербии. Он прямо поступил в кавалергарды, а потом был определен в Уфу прокурором Верх-

него земского суда. Он мог назваться верным типом южного славянина и отличался радушием и гостеприимством; хотя его наружность и приемы, при огромном росте и резких чертах лица, сначала казались суровыми и строгими, но он имел предобрейшее сердце; жена его была русская дворянка Руднева; дом их в городе Казани отличался вполне славянской надписью над воротами: «Добрые люди, милости просим!»[1]

— Когда Княжевичи жили в Уфе, то мы виделись очень часто, и мы с сестрой играли вместе с их старшими сыновьями, Дмитрием и Александром, которые также были тут и которых я не скоро узнал; но когда мать все это мне напомнила и растолковала, то я вдруг закричал: «Ах, маменька, так это те Княжевичи, которые учили меня бить лбом грецкие орехи!» Воскликание мое возбудило общий смех. Робость прошла, и я сделался весел и вновь подружился с старыми приятелями: они были одеты в зеленые мундиры с красными воротниками, и я узнал, что они отданы в казанскую гимназию, куда через час их увезли.

Это случилось в воскресенье; молодые Княжевичи были отпущены к родителям с утра до восьми часов вечера. Мне стало скучно, и, слушая разговоры моего отца и матери с хозяйками, я задремал, как вдруг долетели до детского моего слуха следующие слова, которые навели на меня ужас и далеко прогнали сон. «Да, мой любезный Тимофей Степаныч и почтенная Марья Николавна, — говорил твердым и резким голосом Максим Дмитриевич, — примите мой дружеский совет, отдайте Сережу в гимназию. Особенно советую я это потому, что он, кажется, матушкин сынок; она его избалует, разнежит и сделает бабой. Мальчика пора учить; в Уфе никаких учителей не было, кроме Матвея Васильича в народном училище, да и тот ничего не смыслил; а теперь вы переехали на житье в деревню, где и Матвея Васильича не достанешь». Мой отец безусловно соглашался с этим мнением, а мать, пораженная мыслию разлуки с своим сокровищем, побледнела и встревоженным голосом возражала, что я еще мал, слаб здоровьем (отчасти это была правда) и так привязан к ней, что она не может вдруг на это ре-

шиться. Я сидел, как говорится, ни жив ни мертв и уже ничего не слышал и не понимал, что говорили. Часов в десять поужинали, но ни я, ни мать моя не могли проглотить ни одного куска. Наконец, тот же возок, который привез меня, отвез нас опять на квартиру. Когда мы легли спать и я по обыкновению обнял и прижался к сердцу матери, то мы оба с нею принялись громко рыдать. Кроме слов, заглушаемых всхлипываньями: «Маменька, не отдавай меня в гимназию», я ничего сказать не мог. Мать также рыдала, и мы долго не давали спать моему отцу. Наконец, мать решила, что ни за что со мною не расстанется, — и к утру мы заснули.

Мы пробыли в Казани не долго. После я узнал, что мой отец и Княжевичи продолжали уговаривать мою мать отдать меня немедленно на казенное содержание в казанскую гимназию, убеждая ее тем, что теперь есть ваканция, а впоследствии, может быть, ее не будет; но мать моя ни за что не согласилась и сказала решительно, что ей надобно по крайней мере год времени, чтобы совладеть с своим сердцем, чтобы самой привыкнуть и меня

приучить к этой мысли. От меня все было скрыто, и я поверил, что этой страшной беды никогда со мною не случится.

Мы опять потащились на своих лошадях, сначала в Симбирскую губернию, где взяли сестру и брата, и потом пустились за Волгу, в Новое Аксаково, где оставалась новорожденная сестра Аннушка. Езда зимой на своих, по проселочным дорогам тогдашней Уфимской губернии, где, по целым десяткам верст, не встречалось иногда ни одной деревни, представляется мне теперь в таком ужасном виде; что сердце замирает от одного воспоминания. Проселочная дорога была не что иное, как след, проложенный несколькими санями по снежным сугробам, при малейшем ветерке совершенно заметаемый верхним снегом. По такой-то дороге надобно было тащиться гусем, часов семь сряду, потому что пряжки, или переезды, делались верст по тридцати пяти и более; да и кто мерил эти версты! Для этого надобно было подниматься с ночлега в полночь, будить разоспавшихся детей, укутывать шубами и укладывать в повозки. Скрип от полозьев по сухому снегу терзал мои чув-

ствительные нервы, и первые сутки я всегда страдал желчной рвотой. Кормежки и ночевки в дымных избах вместе с поросятами, ягнятами и телятами, нечистота, вонь... не дай бог никому и во сне все это увидеть. Не говорю уже о буранах, от которых иногда надобно было останавливаться в какой-нибудь деревушке, ждать суток по двое, когда затихнет снежный ураган... Страшно вспомнить! Но мы приехали, наконец, в мое милое Аксаково, и все было забыто. Я начал опять вести свою блаженную жизнь подле моей матери; опять начал читать ей вслух мои любимые книжки: «Детское чтение для сердца и разума» и даже «Ипокрену, или Утехи любословия», конечно не в первый раз, но всегда с новым удовольствием; опять начал декламировать стихи из трагедии Сумарокова, в которых я особенно любил представлять вестников, для чего подпоясывался широким кушаком и втыкал под него, вместо меча, подоконную подставку; опять начал играть с моей сестрой, которую с младенчества любил горячо, и с маленьким братом, валяясь с ними на полу, устланному для теплоты в два ряда калмыцкими, белыми

как снег кошмами; опять начал учить читать свою сестрицу: она училась сначала как-то тупо и лениво, да и я, разумеется, не умел принятьсь за это дело, хотя очень горячо им занимался. Я очень помню, что никак не мог растолковать моей шестилетней ученице, как складывать целые слова. Я приходил в отчаяние, садился на скамеечке в угол и принимался плакать. На вопрос же матери, о чем я плачу, я отвечал: «Сестрица ничего не понимает...» Опять начал я спать с своей кошкой, которая так ко мне была привязана, что ходила за мной везде, как собачонка; опять принялся ловить птичек силками, крыть их лучком и сажать в небольшую горницу, превращенную таким образом в обширный садок; опять начал любоваться своими голубями, двухохлыми и мохноногими, которые зимовали без меня в подпечках по разным дворовым избам; опять начал смотреть, как охотники травят сорок и голубей и кормят ястребов, пущенных в зиму. Недоставало дня, чтобы насладиться всеми этими благами! Зима прошла, и наступила весна; все зазеленело и расцвело, открылось множество новых живейших на-

слаждений: светлые воды реки, мельница, пруд, грачовая роща и остров, окруженный со всех сторон старым и новым Бугурусланом, обсаженный тенистыми липами и березами, куда бегал я по несколько раз в день, сам не зная зачем; я стоял там неподвижно, как очарованный, с сильно бьющимся сердцем, с прерывающимся дыханием... Всего же сильнее увлекала меня удочка, и я, под надзором дядьки моего Ефрема Евсеича, с самозабвением предался охоте удить рыбу, которой много водилось в прозрачном и омутистом Бугуруслане, протекавшем под самыми окнами деревенской спальни, прирубленной сбоку к старому дому покойным дедушкой для того, чтобы у его невестки была отдельная своя горница. Под самым окном, наклонясь над водой, росла развесистая береза; один толстый ее сучок выгибался у ствола, как кресло, и я особенно любил сидеть на нем с сестрой... Теперь воды Бугуруслана подмыли корни березы, она состарилась преждевременно и свалилась набок, но все еще живет и зеленеет. Новый хозяин посадил подле нее новое дерево...

О, где ты, волшебный мир, Шехеразада че-

ловческой жизни, с которым часто так неблагоприятно, грубо обходятся взрослые люди, разрушая его очарование насмешками и преждевременными речами! Ты, золотое время детского счастья, память которого так сладко и грустно волнует душу старика! Счастлив тот, кто имел его, кому есть что вспомнить! У многих проходит оно незаметно или нерадостно, и в зрелом возрасте остается только память холодности и даже жестокости людей.

Лето провел я в таком же детском упоении и ничего не подозревал, но осенью, когда я стал больше сидеть дома, больше слушать и больше смотреть на мою мать, то стал примечать в ней какую-то перемену: прекрасные глаза ее устремлялись иногда на меня с особенным выражением тайной грусти; я подглядел даже слезы, старательно от меня скрываемые. Встревоженный и огорченный, со всеми ласками горячей любви я приставал с расспросами к моей матери. Сначала она уверяла меня, что это так, что это ничего не значит; но скоро в ее разговорах со мной я начал слышать, как сокрушается она о том, что мне

не у кого учиться, как необходимо ученье мальчику; что она лучше желает умереть, нежели видеть детей своих вырастающих невеждами; что мужчине надобно служить, а для службы необходимо учиться... Сердце сжалось у меня в груди, я понял, к чему клонится речь, понял, что беда не прошла, а пришла и что мне не уйти от казанской гимназии. Мать подтвердила мою догадку, и сказала, что она решилась; а я знал, что ее решения тверды. Несколько дней я только плакал и ничего не слушал, и как будто не понимал, что говорила мне мать. Наконец, ее слезы, ее просьбы, ее разумные убеждения, сопровождаемые нежнейшими ласками, горячность ее желания видеть во мне образованного человека были поняты моей детской головой, и с растерзанным сердцем я покорился ожидающей меня участи. Все мои деревенские удовольствия вдруг потеряли свою прелесть, ни к чему меня не тянуло, все смотрело чужим, все опостылело, и только любовь к матери выросла в таких размерах, которые пугали ее. Меня стали готовить к школьному ученью. Для своего возраста я читал как нельзя

лучше, но писал по-детски. Отец еще прежде хотел мне передать всю свою ученость в математике, то есть первые четыре арифметические правила, но я так непонятливо и лениво учился, что он бросил ученье. Тут все переменялось: в два месяца я выучил эти четыре правила, которые только одни из всей математики и теперь не позабыты мной; в остальное время до отъезда в Казань отец только повторял со мной зады; в списывании прописей я достиг также возможного совершенства. Все это я делал на глазах у своей матери и единственно для нее. Она сказала мне, что сторит со стыда, если меня не похвалят на экзамене, который надобно было выдержать именно в этих предметах при вступлении в гимназию, что она уверена в моих отличных успехах, — этого было довольно. Я не отходил от матери ни на шаг. Напрасно посылала она меня погулять или посмотреть на голубей и ястребов. Я никуда не ходил и всегда отвечал одно: «Мне не хочется, маменька». С намерением приучить меня к мысли о разлуке мать беспрестанно говорила со мной о гимназии, об ученье, непременно хотела впоследствии отвез-

ти меня в Москву и отдать в университетский благородный пансион, куда некогда определила она, будучи еще семнадцатилетней девушкой, прямо из Уфы, своих братьев. Ум мой был развернут не по летам: я много прочел книг для себя и еще более прочел их вслух для моей матери; разумеется, книги были старше моего возраста. Надобно к этому прибавить, что все мое общество составляла мать, а известно, как общество взрослых развивает детей. Итак, она могла говорить со мной о преимуществах образованного человека перед невеждой, и я мог понимать ее. Будучи необыкновенно умна, владея редким даром слова и страстным, увлекательным выражением мысли, она безгранично владела всем моим существом и вдохнула в меня такую бодрость, такое рвение скорее исполнить ее пламенное желание, оправдать ее надежды, что я, наконец, с нетерпением ожидал отъезда в Казань. Мать моя казалась бодрою и веселою; но чего стоили ей эти усилия! Она худела и желтела с каждым днем, никогда не плакала и только более обыкновенного молилась богу, запершись в своей комнате. Вот где

было настоящее торжество безграничной, бескорыстной, полной самоотвержения материнской любви! Вот где доказала мне мать любовь свою! Я был прежде больной ребенок, и она некогда проводила целые годы безотлучно у моей детской кровати; никто не знал, когда она спала; ничья рука, кроме ее, ко мне не прикасалась. Впоследствии она перешла весною в ростополь, страшную, посиневшую реку Каму, уже ни для кого не проходимую, ежеминутно готовую взломать свои льды, — узнав, что тоска меня одолела и что я лежу в больнице... Но это ничего не значит в сравнении с решимостью отдать в гимназию свое ненаглядное, слабое, изнеженное, буквально обожаемое дитя, по девятому году, на казенное содержание, за четыреста верст, потому что не было других средств доставить ему образование.

Пришла опять зима, и в декабре мы отправились в Казань. Чтобы не так было грустно матери моей возвращаться домой, по настоянию отца взяли с собой мою любимую старшую сестрицу; брата и меньшую сестру оставили в Аксакове с тетушкой Евгенией Степа-

новной. В Казани мы остановились на прошлогодней квартире, у капитанши Аристовой. С Максимом Дмитричем Княжевичем, мы переписывались из деревни; заранее знали, что есть казенная ваканция в гимназии, и заранее приготовили все бумаги, нужные для моего определения. Итак, недели через две, познакомясь предварительно через Княжевича со всеми лицами, с которыми надобно было иметь дело, и помолясь усердно богу, отец мой подал просьбу директору Пекену.

Совет гимназии предложил главному надзирателю (он же был инспектором) Николаю Ивановичу Камашеву проэкзаменовать меня, а доктору Бенису освидетельствовать в медицинском отношении. Камашев находился в отпуску; должность главного надзирателя исправлял надзиратель «благонравной» комнаты Василий Петрович Упадышевский, а должность инспектора классов — старший учитель российской словесности Лев Семеныч Левицкий. Оба были добрые и ласковые люди, а Упадышевский впоследствии сделался истинным ангелом хранителем моим и моей матери; я не знаю, что было бы с нами без

этого благодетельного старика. Поехав подавать просьбу директору, отец взял меня с собою, и директор приласкал меня. Левицкий был нездоров и не мог приехать в совет гимназии, и потому отец повез меня к нему на квартиру. Лев Семеныч был любезный, веселый, краснощекий толстяк уже с порядочным брюшком, несмотря на свою молодость. Он очаровал своим приемом обоих нас: начал с того, что разласкал и расцеловал меня, дал мне читать прозу Карамзина и стихи Дмитриева — и пришел в восхищение, находя, что я читаю с чувством и пониманием; заставил меня что-то написать — и опять пришел в восхищение; в четырех правилах арифметики я также отличился; но Левицкий, как настоящий словесник, тут же отозвался о математике с пренебрежением. По окончании экзамена он принялся меня хвалить беспощадно; удивлялся, что мальчик моих лет, живя в деревне, мог быть так хорошо приготовлен. «Да кто же был его учителем в каллиграфии? — добродушно смеясь, спросил Лев Семеныч у моего отца, — ваш собственный почерк не очень красив?» Отец мой, обрадован-

ный и растроганный почти до слез похвалами своему сыну, простодушно отвечал, что я достиг до всего своими трудами под руководством матери, с которою был почти неразлучен, и что он только выучил меня арифметике. Он прибавил к этому, что моя мать жила всегда в губернском городе, что мы недавно переехали в деревню, что она дочь бывшего значительного чиновника и большая охотница до книг и до стихов. «А, теперь я понимаю, — воскликнул Левицкий, — отчего печать благонравия и даже изящества лежит на вашем милом сыне — это плод женского воспитания, плод трудов образованной матери». Мы уехали, очарованные им. Доктор Бенис, который имел прекрасный дом на Лядской улице, принял нас очень учтиво и без всякого затруднения дал свидетельство о моем здоровье и крепком телосложении. Воротясь домой, я заметил, что мать моя много плакала, хотя глаза ее были такого свойства, что слезы не мутили их ясности и никакого следа не оставляли. Отец мой с жаром рассказал все случившееся с нами. Мать устремила на меня взгляд, выражения которого я не забуду, если

проживу еще сто лет. Она обняла меня и сказала: «Ты мое счастье, ты моя гордость». Чего мне было больше? И я по-своему был счастлив, горд и бодр.

Мать моя сделала визит жене доктора Бенниси и познакомилась с ним самим. Молодости, красоте, уму и слезам моей матери трудно было отказать в сочувствии; доктор и докторша полюбили ее, и доктор дал ей обещание, что в случае малейшего моего нездоровья будут мне оказаны все медицинские пособия. Обещание страшное, по моим теперешним понятиям: я боюсь излишества медицинских пособий; но тогда оно несколько успокоило мою бедную мать. — Василий Петрович Упадышевский был вдовец, и двое его сыновей находились в числе казенных воспитанников казанской гимназии. Отец мой познакомился с ним и пригласил его к нам на квартиру. Этот добрый старик был так обласкан моею матерью, так оценил ее горячность к сыну и так полюбил ее, что в первое же свидание дал честное слово: во-первых, через неделю перевести меня в свою благонравную комнату — ибо прямо поместить туда неиз-

вестного мальчика показалось бы для всех явным пристрастием — и, во-вторых, смотреть за мной более, чем за своими повесами, то есть своими родными сыновьями. Он свято исполнил и то и другое. Как теперь гляжу на его добродушное и приветливое лицо, на его правую руку, подвязанную черной широкой лентой, потому что кисть руки была оторвана взрывом пушки и вместо нее привязывалась к руке черная перчатка, набитая хлопчатой бумагой; впрочем, он очень четко и хорошо писал левою рукою.

Наконец, все формальности были выполнены, и состоялось определение совета принять меня в гимназию на казенное содержание; даже сняли с меня мерку и сшили форменное платье. Напряженное состояние духа, в котором находилась мать моя и я сам, не ослабевало. Поехали в собор, отслужили молебны Гурию, Варсонофию и Герману, казанским чудотворцам; прямо оттуда отец с матерью отвезли меня в гимназию и отдали с рук на руки Упадышевскому; дядька мой, Ефрем Евсеич, также поступил туда в должность комнатного служителя. Прощанье, понимает-

ся, сопровождалось слезами, благословениями и наставлениями, но ничего особенного не случилось. Меня отвезли поутру в десять часов: классы только что переменились,[2] и все ученики находились в классных комнатах наверху. Спальные внизу были пусты, и мать моя могла осмотреть их, даже видеть ту кровать, на которой я буду спать, казалось, она всем осталась довольна. Как только уехали мои родители, Упадышевский взял меня за руку, отвел в класс чистописания, представил учителю, рекомендовал как самого благонаправленного мальчика и просил особенно мной заняться. Меня посадили за отдельный стол, вместе с новенькими, и заставили выписывать палочки. Я был так поражен, что находился точно в каком-то забытьи; все казалось мне сном, но страха и тоски я не чувствовал. После обеда, которого я не заметил, надели на меня форменную мундирную куртку, повязали суконный галстук, остригли волосы под гребенку, поставили во фронт по ранжиру, по два человека в ряд, подле ученика Владимира Граффа, и сейчас выучили ходить в ногу. Я все исполнял, как говорится, машинально:

точно дело шло не обо мне. По окончании классов Упадышевский встретил меня у дверей и, сказав: «Матушка тебя дожидается», отвел меня в приемную залу. Отец с матерью были там; отец, увидя меня, рассмеялся и сказал: «Вот как перерядили Сережу». А мать, которая в первую минуту меня не узнала, всплеснула руками, ахнула и упала без чувств. Я закричал, как иступленный, и также упал у ее ног. Упадышевский, смотревший в непритворенную дверь, перепугался и прибежал на помощь. Обморок моей матери продолжался около получаса, напугал моего отца и так встревожил бедного Упадышевского, что он призвал из больницы жившего там подлекаря Риттера, который давал матери моей какое-то лекарство и даже мне что-то дал выпить. Когда мать опомнилась, то сделалась очень слаба, и добрый Упадышевский сам предложил отпустить меня ночевать домой. «Так и быть, — говорил он, — пусть прогневается на меня Николай Иваныч (главный надзиратель), когда, воротясь, узнает об этом; правда, он ни за что бы не позволил, но я уж беру все на свою ответственность, только, по-

жалуйста, привезите его завтра к семи часам, прямо к завтраку». Мы не находили слов благодарить доброго человека и отправились на квартиру. Дома мать одумалась, ободрилась и меня ободрила. Она заставила себя спокойно смотреть на мою, почти выбритую голову, где рука ее напрасно искала мягких, белокурых кудрей моих, на суконный галстук, который уже успел натереть мою нежную шею, никогда еще не носившую и шелкового платка. Во всем находила она разумную потребность, которой должно было покориться. Взаимная наша твердость духа и решимость с новою силою овладели нами. На другой день в семь часов я был уже в гимназии. Мать приезжала ко мне всякий день два раза, в двенадцать часов перед обедом, всего на полчаса, и в шесть часов вечера, и тогда я мог оставаться с ней часа полтора. При свиданьях со мною она казалась спокойною и даже веселою; но по печальному лицу моего отца я отгадывал, что дома без меня происходило совсем другое. Через несколько дней отец мой убедился, что дела так продолжаться не могут и что эти беспре- станные свиданья и прощанья — только одно

бесполезное мученье; он призвал на совет Княжевича, и они вместе решили увезти немедленно мою мать в деревню. Решить было легко, да исполнить трудно: отец мой знал это очень хорошо; но, сверх его ожидания и к большому удовольствию, мать моя скоро уступила общим просьбам и убеждениям. Слова доктора Бениса, принявшего в этом деле участие, без сомнения, имели большой вес. Он уверял, что частые свиданья, раздражая мои слабые нервы, вредны моему здоровью и что я никогда или очень долго не привыкну к новой моей жизни, если мать моя не уедет. Даже добрейший Упадышевский упрашивал о том же, утверждая, что в таком положении я не могу хорошо учиться и что учителя получают обо мне дурное мнение... и мать моя согласилась уехать на другой же день. Удивляюсь только одному, как она могла решиться обмануть меня? Она сказала мне перед обедом, что завтра или послезавтра уезжает и что мы еще увидимся раза два; сказала также, что вечер проведет у Княжевичей и потому ко мне не приедет. Уехать тихонько, не протаясь со мной, — это была несчастная мысль,

поддержанная Бенисом и Упадышевским. Разумеется, хотели пощадить нас обоих, и особенно меня, от последнего прощанья, но расчет оказался неверен. Я и теперь убежден, что эта благонамеренная хитрость произвела много печальных последствий.

В первый раз случилось, что мать не пришла ко мне вечером, и хотя я был предупрежден ею, но тоска и предчувствие неизвестной беды томили мое сердце. Ночь спал я дурно. На другой день поутру, когда я стал одеваться, дядька мой Евсеич подал мне записку: мать прощалась со мной; она писала, что если я люблю ее и хочу, чтоб она была жива и спокойна, то не буду грустить и стану прилежно учиться. Она уехала накануне в восемь часов вечера. Ясно помню я эту минуту, но описать ее не умею: что-то болезненное пронзило мою грудь, сжало ее и захватило дыхание; через минуту началось страшное биение сердца. Полуодетый, я сел на кровать и с безумным отчаянием глядел на всех, ничего не слушая и ничего не понимая. Упадышевский, который дня за два перевел меня в свою благонаправленную комнату и который знал об

отъезде матери моей, следовательно понимал причину моего состояния, — не велел меня трогать, увел поскорее воспитанников наверх, поручил их одному из надзирателей и прибежал ко мне: я сидел на кровати в том же положении; Евсеич стоял передо мною и плакал. Что ни говорил Упадышевский, я не слышал и молчал. Я не мог сообразить никакой мысли, и глаза у меня были, как мне после сказали, дикие и неподвижные. Меня отвели в больницу; я и там сел бессознательно на кровать и сидел так же молча и глядел так же дико. Через час приехал Бенис; он осмотрел меня по-докторски, покачал головой и сказал что-то по-французски; после я узнал от других, что он сказал: «Pauvre enfant».[3] Мне дали проглотить отвратительное лекарство, раздели, положили в постель и принялись тереть суконками. Скоро сильный озноб и дрожь привели меня в память. Я громко закричал: «Маменька уехала!..» — и ручьи задержанных слез хлынули из моих глаз. Бенис, видимо, обрадовался, сел подле меня и начал говорить об отъезде моей матери, о необходимости этого отъезда для ее здоровья, о вред-

ных следствиях прощанья и о том, как должен вести себя умненький мальчик в подобных обстоятельствах, любящий свою мать и желающий ее успокоить... Его слова были вдохновением свыше, потому что доктор, будучи весьма почтенным человеком, не отличался нежностью и мягкостью характера; слезы мои потекли еще сильнее, но мне стало легче. Бенис уехал. Я рыдал еще часа два и, наконец, заснул от утомления, и благотворный сон подкрепил мой слабый организм. Упадышевский приходил ко мне несколько раз; даже принес мне для развлечения «Детское училище», которого я еще не видывал. Упадышевский знал, что я был страстный охотник читать; но мне было тогда еще не до чтения. Я попросил позволения писать и писал к отцу и к матери весь день и весь вечер, и почти беспрестанно плакал. Ночь я спал беспокойно и много грезил, к чему я всегда был склонен. Евсеич не отходил от меня. На другой день поутру Бенис нашел мое здоровье в лучшем положении, выписал из больницы, потому что считал вредным для меня, в нравственном отношении, и бездействие и

пребывание между больными, и велел заниматься слегка ученьем. Упадышевский опять сам отвел меня в учебные комнаты, и я попал опять в тот же класс чистописания и потом в класс к священнику. Два часа слушал я, как сказывали мои товарищи свои уроки из катехизиса и священной истории, как священник задавал новый урок и что-то много толковал и объяснял; но я не только в этот раз, но и во все время пребывания моего в гимназии не понимал его толкований. Своих уроков на этот раз я не знал. Священник был предупрежден о моем болезненном состоянии, и хотя он был человек весьма не снисходительный и строгий, но ограничился одним выговором и велел приготовить уроки к следующему разу. После обеда, чтоб я не оставался праздным и не предался грустным мыслям, Упадышевский поручил одному из старших воспитанников, Илье Жеванову, хорошо рисовавшему, занять меня рисованием, к чему в детстве я имел большую склонность. Я сам слышал, как этот добрейший старик просил Жеванова сделать ему большое одолжение, которого он никогда не забудет, — заняться рисованьем с

бедным мальчиком, который очень тоскует по матери, — и Жеванов занимался со мной; но ученье не только в этот раз, но и впоследствии не пошло мне впрок; рисованье кружков, бровей, носов, глаз и губ навсегда отвратило меня от рисованья. После же вечерних классов все тот же благодетельный гений мой, Василий Петрович Упадышевский, заставил меня твердить уроки возле себя и, видя, что я сам не понимаю, что твержу, начал со мною разговаривать о моей деревенской жизни, об моем отце и матери и даже позволял немного поплакать. Я не знаю, как пошла бы моя жизнь дальше; но тут внезапно все переменялось; на третий день, во время обеда, Евсеич подал мне записочку от матери, которая писала ко мне, что она стосковалась, не простившись со мною как следует, и что она, отъехав девяносто верст, воротилась назад, чтоб еще раз взглянуть на меня хотя одну минуту. Я никак не могу объяснить себе, отчего в первую минуту я не почувствовал той великой радости, которую, казалось бы, должно было мне почувствовать? Я будто испугался, будто не поверил, будто грезил во сне...

Упадышевский также получил записку: мать просила отпустить меня с шести до девяти часов вечера, а если нельзя, то хотела приехать сама; к этому прибавляла она, что пробудет в Казани только до утра. Упадышевский приказал мне написать, чтобы Марья Николаевна не беспокоилась и сама не приезжала, что он отпустит меня с дядькой, может быть, ранее шести часов, потому что на последние часы учитель, по болезни, вероятно не придет, и что я могу остаться у ней до семи часов утра. Я писал эти слова и решительно думал, что вижу сон. Евсеич побежал с моим письмом. Часа через полтора он воротился с такой радостной запиской, с такой горячей благодарностью Упадышевскому, что старик прослезился, прочитав письмецо моей матери. Евсеич рассказал нам, что барыня воротилась одна из села Алексеевского, в девяноста верстах от Казани по почтовому тракту, что барин остался там с барышней, которая нездорова, и что мать моя прискакала на почтовых, в легкой ямской повозке, с одной горничной и одним человеком. Я как будто начал приходить в себя, начал верить своему благополучию и

вскоре так поверил, что последний час ожидания был для меня невыносимой пыткой. Учитель точно уведомил, что не будет, — и в четыре часа и пять минут я сел с моим дядькой в извозчичьи сани, уже не помня себя от неописанной радости. Мать моя остановилась, у кого не помню, на Проломной улице, только это был не постоянный двор. Вбежав в комнату, я издали увидел, что мать моя, бледная и худая, сидит в теплом салопе, у затопленного камина, потому что комната была очень холодна. Эта минута свидания была такова, что невозможно дать о ней понятия! Подобного чувства счастья я не испытывал уже во всю мою жизнь. Несколько минут мы ничего не говорили, только плакали и радовались. Но это продолжалось недолго. Скоро мысль о близкой разлуке отогнала все другие мысли и чувства и болезненно сжала мое сердце. С горькими слезами рассказал я матери все происходившее со мной со времени внезапного ее отъезда. Я испугался, какое действие произвел мой рассказ! Как обвиняла себя и как раскаивалась бедная мать моя, что согласилась обмануть меня и уехать, не про-

стяться! Потом она рассказала мне про себя; она не помнила, как выехала из Казани, потому что ей сделалось дурно, когда ее усадили в повозку. По мере удаления от города с каждым часом становилось ей тошнее; скоро овладела ею мысль воротиться назад, но убеждения отца и собственный рассудок удерживали на некоторое время стремление материнской любви. Наконец, она была не в состоянии противиться своим чувствам и воротилась одна, потому что побоялась растрясти мою сестру, и без того нездоровую. Мой отец и сестра должны были дожидаться ее в Алексеевском; для сестры моей даже нужен был отдых. Целый вечер и большую половину ночи провели мы в разговорах и слезах; но как всему есть мера, то и мы, можно сказать, пресытились слезами и заснули. Я помню, что несколько раз вздрагивал во сне и начинал рыдать, но мать обнимала меня, клала мою голову к себе на грудь, и я снова засыпал. В шесть часов нас разбудили. Мы были спокойнее и бодрее. Мать дала мне обещание, что по первому летнему пути она приедет в Казань и проживет до окончания экзаменов, а после

гимназического акта, который всегда бывал в первых числах июля, увезет меня на вакацию в деревню, где я проживу до половины августа. Отрадное чувство наполнило мое сердце; мы простились довольно спокойно. В семь часов мать моя села в свою ямскую кибитку, а я с Евсеичем в извозчичьи сани, и мы в одно время съехали со двора: повозка поехала направо к заставе, а я налево в гимназию; скоро мы свернули с улицы в переулок, и кибитка исчезла из моих глаз. Сердце у меня оторвалось, как говорится, грусть залегла в душе; но голова не была смущена, я понимал ясно, что вокруг меня происходило и что ожидает впереди. Огромное белое здание гимназии, с ярко-зеленой крышей и куполом, стоящее на горе, сейчас бросилось мне в глаза и поразило меня, как будто я его никогда не видывал. Оно показалось мне страшным, очарованным замком (о которых я читывал в книжках), тюрьмою, где я буду колодником. Огромная дверь на высоком крыльце между колоннами, которую распахнул старый инвалид и которая, казалось, проглотила меня; две широкие и высокие лестницы, ведущие во второй

и третий этаж из сеней, освещаемые верхним куполом; крик и гул смешанных голосов, встретивший меня издали, вылетавший из всех классов, потому что учителя еще не пришли, — все это я увидел, услышал и понял в первый раз. Несмотря на то, что я жил в гимназии уже более недели — я не замечал ее. Только теперь почувствовал я себя казенным воспитанником казенного учебного заведения. Целый день я удивлялся всему, как будто новому, невиданному, и боже мой! как все показалось мне противно! Вставанье по звонку, задолго до света, при потухших и потухающих ночниках и сальных свечах, наполнявших воздух нестерпимой вонью; холод в комнатах, [4] отчего вставать еще неприятнее бедному дитяти, кое-как согревшемуся под байковым одеялом; общественное умыванье из медных раковин, около которых всегда бывает ссора и драка; ходьба фрунтом на молитву, к завтраку, в классы, к обедню и т. д.; завтрак, который состоял в скоромные дни из стакана молока пополам с водою и булки, а в постные дни — из стакана сбитня с булкой; в таком же роде обед из трех блюд и ужин из

двух... Чем все это должно было казаться изнеженному, избалованному мальчику, которого мать воспитывала с роскошью, как будто от большого состояния? Но всего более приводили меня в отчаяние товарищи: старшие возрастом и ученики средних классов не обращали на меня внимания, а мальчики одних лет со мною и даже моложе, находившиеся в низшем классе, по большей части были нестерпимые шалуны и озорники; с остальными я имел так мало сходного, общего в наших понятиях, интересах и нравах, что не мог с ними сблизиться и посреди многочисленного общества оставался уединенным. Все были здоровы, довольны и нестерпимо веселы, так что я не встречал ни одного сколько-нибудь печального или задумчивого мальчика, который мог бы принять участие в моей постоянной грусти. Я смело бросился бы к нему на шею и поделился бы моим внутренним состоянием. «Что это за чудо, — думал я, — верно, у этих детей нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни дому, ни саду в деревне», и начинал сожалеть о них. Но скоро удостоверился, что почти у всех были отцы, и матери,

и семейства, а у иных и дома и сады в деревне, но только недоставало того чувства горячей привязанности к семейству и дому, которым было преисполнено мое сердце. Само собою разумеется, что я как *нелюдим*, как *неженка*, *недоτροга*, как *матушкин сынок*, который все *хнычет по маменьке*, — сейчас сделался предметом насмешек своих товарищей; от этого не могли оградить меня ни власть, ни нравственное влияние Василья Петровича Упадышевского, который не переставал и днем и ночью наблюдать за мной. Он сам запретил мне жаловаться на обиды товарищей, хорошо зная, как ненавидят в училищах ябедников, клеймя этим именем всякого, кто пожалуется начальству на оскорбление товарищей. Он поставил мою кровать между кроватями Кондырева и Мореева, которые были гораздо старше меня и оба считались самыми степенными и в то же время неуступчивыми учениками; он поручил меня под их защиту, и по их милости никто из шалунов не смел подходить к моей постели. Надобно заметить, что тогда не было у нас рекреационных зал и что казенные воспитан-

ники и пансионеры все время, свободное от ученья, проводили в спальнях.

С самых первых дней, после окончательной разлуки с матерью, я принялся с жаром за ученье. Я упросил моих учителей (все через Упадышевского), чтобы мне задавали не по одному, а по два и по три урока, для того чтобы догнать старших учеников и не сидеть на одной лавке с новенькими. Способность понимания и память были у меня сильно развиты; через месяц я не только перегнал и оставил позади новеньких, но во всех классах сел за первый стол вместе с лучшими воспитанниками. Это обстоятельство усилило нерасположение ко мне и тех, которых я обогнал, и тех, с которыми я сравнился.

В самое это время воротился к своей должности главный надзиратель Николай Иваныч Камашев. Не знаю, по справедливости ли считался он очень умным человеком, но то верно, что он был человек холодный, твердый, говоривший всегда тихо и с улыбкой и действовавший с непреклонною волею. Все без исключения боялись его гораздо больше, чем директора. Он любил власть, умел приоб-

ресть ее и пользовался ею с педантической точностью. — Упадышевский отгадал, что Николай Иваныч на него прогневадается; он сейчас узнал все отступления от устава гимназии, которые сделал для меня и для моей матери исправлявший его должность надзиратель, то есть: несвоевременное свидание с родителями, тогда как для того были назначены известные дни и часы, незаконные отпуска домой и особенно отпуска на ночь. Главный надзиратель задал такую гонку моему благодетелю, что старик долго ходил задумавшись. Камашев сказал ему с тихою улыбкою: «что если что-нибудь подобное случится еще один раз, то он попросит почтеннейшего Василья Петровича оставить службу при гимназии». Я горько плакал, узнав об этом, и получил непреодолимое отвращение и ужас даже к имени главного надзирателя — и недаром: он невзлюбил меня без всякой причины, сделался моим гонителем, и впоследствии много пролила от него слез моя бедная мать. Дня через три после своего возвращения Камашев вызвал меня из фронта на середину залы и сказал мне довольно длинное поучение на

следующую тему: что дурно быть избалованным мальчиком, что очень нехорошо пользоваться пристрастным снисхождением начальства и не быть благодарным правительству, которое великодушно взяло на себя немаловажные издержки для моего образования. — Хотя я был кроткий и добрый мальчик, но впечатлительный и вспыльчивый от природы. Я стоял, потупив глаза, и неизвестное мне до тех пор чувство незаслуженного оскорбления и гнева волновало мою грудь. «Что вы не смотрите на меня? — вдруг сказал Камашев. — Это недобрый знак, если мальчик прячет свои глаза и не смеет или не хочет смотреть прямо на своего начальника... Смотрите на меня!» — произнес он строго и возвыся голос. Я поднял глаза, и, видно, в них так много выразилось внутреннего чувства оскорбленной детской гордости, что Камашев отвернулся и сказал, уходя, Упадышевскому: «Он совсем не так смирен и добр, как вы говорите». После я узнал, что главный надзиратель хотел перевести меня из благодетельной комнаты; он потребовал аттестаты всех учителей и надзирателей; но везде стояло: *при-*

мерного поведения и прилежания, отличный в успехах, и Камашев оставил меня на прежнем месте. Во все время первого пребывания моего в гимназии он часто осматривал в классах мои книги и тетради, заставлял учителей спрашивать меня при себе и нередко придирался ко мне из пустяков, а надзирателям приказывал, чтобы заставляли меня играть вместе с воспитанниками, прибавляя, что он не любит *тихоней* и *особняков*. Теперь я понимаю, что такое замечание иногда бывает верно; но ко мне оно вовсе не шло и только умножало мое справедливое раздражение. Упадышевский нежно любил меня и, с заботливостью матери, всякий день осматривал мое платье и постель, чистоту рук, тетрадей и книг; он часто твердил мне, чтобы я всегда смотрел в глаза Николаю Иванычу и ничего не возражал на его замечания и выговоры; из любви к старику, я исполнял в точности его наставления.

Камашев не унимался. По распоряжению гимназического начальства, никто из воспитанников не мог иметь у себя ни своих вещей, ни денег: деньги, если они были, храни-

лись у комнатных надзирателей и употреблялись с разрешения главного надзирателя; покупка съестного и лакомства строго запрещалась; конечно, были злоупотребления, но под большою тайной. В числе других строгостей находилось постановление, чтобы переписка воспитанников с родителями и родственниками производилась через надзирателей: каждый ученик должен был отдать незапечатанное письмо, для отправки на почту, своему комнатному надзирателю, и он имел право прочесть письмо, если воспитанник не пользовался его доверенностью. Это постановление решительно не исполнялось; но Камашев потребовал, чтобы Упадышевский показывал ему мои письма. Скрепя сердце добрый старик, который в каждом моем письме, не читая его, приписывал сам, должен был сделаться моим цензором. Первое прочитанное им письмо привело его в большое затруднение: оно все состояло из описания моего грустного ежедневного состояния, из жалоб на товарищей и даже на учителей, из выражений горячего желания увидеть мать, оставить поскорее противную гимназию и уехать

из нее на лето в деревню. Не было ничего предосудительного, но Василий Петрович почувствовал, что в глазах Николая Иваныча каждое мое слово будет виновато, что он найдет тут ропот, обвинение начальства, клевету на учебное заведение и неблагодарность к правительству. Что было ему делать? Открыть мне настоящее положение дел — ему сначала не хотелось: это значило войти в разговор с мальчиком против своего начальства; он чувствовал даже, что я не пойму его, что не буду уметь написать такого письма, какое мог бы одобрить Камашев; лишить мою мать единственного утешения получать мои душевные письма — по доброте сердца он не мог. — Целые сутки ломал он голову, но ничего не придумал, как сам он после сказывал, и решился, наконец, открыть мне всю истину, решившись в то же время обманывать своего строгого начальника. Таким образом, он заставил меня написать другое письмо, под его диктовку, совершенно официальное, и показал его главному надзирателю, который, разумеется, не мог в нем найти ничего к моему обвинению. Оба письма были отправлены

вместе. Вся последующая переписка состояла уже из двойных писем: явных и тайных, даже тогда, когда мой гонитель перестал их читать. Василий Петрович сейчас написал к моей матери, отчего это так делается; письма относил на почту сам Евсеич. Я не умел тогда оценить всю великость самоотвержения, с которым действовал мой благодетель; но мать моя оценила его вполне и написала к Упадышевскому письмо, в котором выражалась самая горячая материнская благодарность. Нечего и говорить, что она хотя не знала вполне гонений Камашева, но была очень ими встревожена.

Дела продолжали идти в прежнем порядке; но со мной случилась перемена, которая для всех должна показаться странною, неестественною, потому что в продолжении полутора месяца я бы должен был привыкнуть к новому образу жизни; я стал задумываться и грустить; потом грусть превратилась в периодическую тоску, наконец, в болезнь. Две причины могли произвести эту печальную перемену: догнав во всех классах моих товарищей, получая обыкновенные, весьма

небольшие, уроки, которые я часто выучивал не выходя из класса, я ничем не был занят не только во все время, свободное от ученья, но даже во время классов, — и умственная деятельность мальчика, потеряв существенную пищу, вся обратилась на беспрестанное размышление и рассматриванье своего настоящего положения, на беспрестанное воображение, что делается в его семействе, как тоскует о нем его несчастная мать, и на воспоминание прежней, блаженной деревенской жизни. Я возненавидел в душе противную гимназию, ученье, и решил по-своему, что оно совершенно бесполезно, совсем не нужно и что от него все дети делаются негодными мальчишками. Вторую причиною, и, может быть, главнейшею — было несправедливое гонение Камашева. Каждое его появление производило потрясение в моих нервах, а он приезжал всякий день по два раза, и никто не знал времени его приезда. Не было такого часу ни днем, ни ночью, в который бы он когда-нибудь не посещал гимназии, и посещения эти были совершенно неожиданны и внезапны. Теперь я отдаю полную справедливость его

неусыпной, хотя слишком строгой и педантической деятельности, но тогда он казался мне тираном, извергом, злым духом, который вырастал как будто из земли даже в таких местах, куда и надзиратели не заглядывали. Его страшный для меня образ поселился в детском моем воображении, и тягостное его присутствие со мной не расставалось. Притом тайные мои письма к матери сделались гораздо короче прежних и писались час от часу с большим стеснением, с большей осторожностью. Я понял, наконец, какое насилие делает Упадышевский своему честному и прямодушному характеру и чем он рискует. — Впоследствии присоединилась и третья причина. В конце марта и в начале апреля солнце начало сильно греть, снег стаял, ручьи побежали по улицам, дохнула весна, и ее дыхание потрясло нервы мальчика, еще бессознательно, но уже страстно любившего природу. Раздражительное действие солнечных весенних лучей на человеческий организм — дело известное. Я живо помню, что в красные дни мне было гораздо тяжелее, чем в пасмурные. Как бы то ни было, только я начал задумываться, или,

лучше сказать, переставал обращать внимание на все, меня окружающее, переставал слышать, что говорили другие; без участия учил свои уроки, сказывал их, слушал замечания или похвалы учителей и часто, смотря им прямо в глаза — воображал себя в милом Аксакове, в тихом родительском доме, подле любящей матери; всем казалось это простою рассеянностью. Чтобы живее предаваться мечтам моего воображения, представительная сила которого возрастала с каждым днем, я зажмуривал глаза и нередко получал толчки от соседей, которые думали, что я сплю. Один раз, в классе русской грамматики, злой мальчишка Рушка закричал: «Аксаков спит!» Учитель, спросив у других учеников, точно ли я спал, и получив утвердительный ответ, едва не поставил меня на колени. Я перестал зажмуривать глаза в классах, но стал чаще под известными предлогами уходить из них, разумеется, сказавши прежде свой урок, и мне иногда удавалось спокойно простоять с четверть часа где-нибудь в углу коридора и помечтать с закрытыми глазами. По окончании послеобеденных классов, после получасо-

вого беганья в приемной зале, в котором я только по принуждению принимал иногда участие, когда все должны были усесться, каждый за своим столиком у кровати, и твердить урок к завтрашнему дню, я также садился, клал перед собою книгу и, посреди громкого бормотанья твердых вслух уроков, переносился моим воображением все туда же, в обетованный край, в сельский дом на берегу Бугуруслана. Скоро, однако, такое напряженное усилие воображения развилось до таких огромных размеров, что слабый телесный состав не мог их выносить. На меня стала нападать истерическая тоска, сопровождаемая такими тяжелыми слезами и рыданьями, что я впадал на несколько минут в беспамятство; после я узнал, что в продолжение его появлялись у меня на лице судорожные движения. Сначала я умел как-то скрывать мое состояние от всех. Я делал это бессознательно, может быть по тайному чувству угадывая, что мне станут мешать предаваться моим мечтам, которые составляли мою единственную отраду. Тоска почти всегда находила на меня вечером; я чувствовал ее приближение и вы-

бегал через заднее крыльцо на внутренний двор, куда могли ходить все ученики для своих надобностей; иногда я прятался за колонну, иногда притаивался в углу, который образовывался высоким крыльцом, выступавшим из середины здания; иногда взбегал по лестнице наверх и садился в углу сеней второго этажа, слабо освещаемом снизу висящим фонарем. Вероятно, холодный воздух способствовал скорому прекращению припадков, и я возвращался на свое место в обыкновенном своем положении. Но один раз забежал я в незапертые классы, когда сторожа убирали их; сам не знаю, как я забился под скамью одного стола. Мне кажется, этот припадок продолжался долее прежних, может быть оттого, что случился не на свежем воздухе. Сторож заметил меня, хотел выгнать, но, видя, что я ничего не отвечаю, донес надзирателю; тот узнал меня и сказал Упадышевскому. Встревоженный старик прибежал ко мне наверх, но в самую эту минуту я очнулся и спокойно воротился с ним в свою комнату. До этого случая Упадышевский, обнадеженный моим почти двухмесячным пребыванием, моим при-

лежным учением, хотя и замечал мою рассеянность или задумчивость, но не придавал ей никакого особенного значения. Тут он расспросил меня подробно. Я рассказал ему с полною откровенностью все то, что знал о своем состоянии; но я многого не понимал и многого не помнил. В продолжение ночи он сам и мой дядька Евсеич наблюдали за мной; я проспал до утра совершенно спокойно. Надобно заметить, что в продолжение всего первого периода моей болезни все ночи я спал хорошо; упоминаю об этом потому, что во втором периоде болезнь взяла совершенно противоположный характер. На другой день поутру, по обыкновению, приехал Бенис в больницу, куда и был я приведен Упадышевским. Доктор расспросил и осмотрел меня внимательно, нашел, что я несколько похудел, побледнел и что пульс у меня расстроен, но отпустил в класс, не предписал никакого лекарства, запретил изнурять меня ученьем, — не веря моим словам, что оно слишком легко, — приказал наблюдать за мной и никуда одного не пускать. Он прибавил к этому, чтобы всякий день, во время его приезда в

больницу, я приходил к нему. Упадышевский принял все нужные меры: кроме того, что он сам беспрестанно подходил ко мне, он поручил двум воспитанникам постоянно смотреть за мной во всякое время, свободное от ученья, дядька же мой должен был идти со мной всякий раз, когда я выходил на задний двор. Во всей гимназии разнесся слух, что «на Аксакова находит черная немочь». Я испугался, хотя не понимал значения этих слов. — Мне показалось очень неприятно такое постоянное внимание посторонних людей к каждому моему движению; целый вечер мне было скучно и грустно. Я уже привык наслаждаться моими мечтами, а теперь мысль, что несколько глаз меня наблюдают, мешала мне оторваться от горькой действительности, чтоб грезить наяву сладкими снами; но тем не менее вечер прошел благополучно: ни тоски, ни истерического припадка не было. Упадышевский и дядька мой обрадовались; очень также остался доволен и Бенис, когда я на другой день пришел к нему в больницу и когда Василий Петрович рассказал, что весь вчерашний день, вечер и ночь я провел спокойно.

Несмотря на то, что доктор нашел мой пульс также расстроенным, он отпустил меня без всяких медицинских пособий, уверяя, что дело поправится и что натура преодолет болезненное начало; но на другой день оказалось, что дело не поправилось, а только изменилось; часу в девятом утра, сидя в арифметическом классе, вдруг я почувствовал, совершенно неожиданно, сильное стеснение в груди, через несколько минут зарыдал, упал и впал в беспамятство. Сделался большой шум, послали за Упадышевским; по счастью, он был дома[5] и приказал перенести меня в спальную, где я через четверть часа очуствовался и даже воротился в класс. Вечером припадок повторился и продолжался гораздо долее. Больше прежнего встревожился благодетельный Василий Петрович и перепугался мой усердный дядька. На этот раз Бенис дал мне какие-то капли (вероятно, нервные), которые я должен был принимать, как только почувствую стеснение; по постным дням приказал давать мне скромный обед из больницы и вместо черного хлеба булку, но оставить в больнице ни за что не согласился. Капли сна-

чала помогли мне, и дня три хотя я начинал тосковать и плакать, но в беспамятство не впадал; потом, по привычке ли моей натуры к лекарству, или по усилению болезни, только припадки стали возвращаться чаще и сильнее прежнего.

Никакой период моего детства не помню я с такую отчетливою ясностью, как время первого пребывания моего в гимназии. Я мог бы безошибочно рассказать со всеми подробностями (чего, конечно, делать не буду) весь ход моего странного недуга. Всем казалось тогда, а в том числе и мне, что появление припадков происходило без всякой причины; но теперь я убежден в противном: они всегда происходили от неожиданно возникавшего воспоминания из прошедшей моей жизни, которая вдруг представлялась моему воображению с живостью и яркостью ночных сновидений. Иногда я доходил до таких явлений сознательно и постепенно, углубляясь в неисчерпаемое хранилище памяти, но иногда они посещали меня без моего ведома и желания. Случалось, что в то время, когда я думал совсем о другом и даже когда был сильно занят

ученьем, — вдруг какой-нибудь звук голоса, вероятно, похожий на слышанный мною прежде, полоса солнечного света на окне или стене, точно так освещавшая некогда знакомые, дорогие мне предметы, муха, жужжавшая и бившаяся на стекле окошка, на что я часто засматривался в ребячестве, — мгновенно и на одно мгновение, неуловимо для сознания, вызывали забытое прошедшее и потрясали мои напряженные нервы. Впрочем, некоторые случаи объяснялись тогда же сами собою: один раз я сказывал урок, как вдруг голубь сел на подоконную доску и начал кружиться и ворковать — это сейчас напомнило мне моих любимых голубей и деревню; грудь моя стеснилась, и последовал припадок. В другой раз пришел я напиться квасу или воды в особенную комнату, которая называлась *квасною*; там бросился мне в глаза простой деревянный стол, который прежде, вероятно, я видал много раз, не замечая его, но теперь он был выскоблен заново и казался необыкновенно чистым и белым: в одно мгновение представился мне такого же вида липовый стол, всегда блиставший белизной и

гладкостью, принадлежавший некогда моей бабушке, а потом стоявший в комнате у моей тетки, в котором хранились разные безделушки, драгоценные для дитяти: узелки с тыквенными, арбузными и дынными семенами, из которых тетка моя делала чудные корзиночки и подносики, мешочки с рожковыми зернами, с раковыми жерновками, а всего более большой игольник, в котором вместе с иголками хранились крючки для удочек, изредка выдаваемые мне бабушкой; все это, бывало, я рассматривал с восхищением, с напряженным любопытством, едва переводя дыхание... Я был поражен сходством этих столов, прошедшее ярко блеснуло, ожило передо мною, — сердце замерло, и последовал сильный припадок. Точно то же случилось со мной при взгляде на кошку, которая спала, свернувшись клубком на солнышке, и напомнила мне мою любимую кошку в деревне. Мне кажется, довольно этих случаев, чтобы предположить во всех остальных подобные причины.

Положение мое становилось хуже и хуже. Припадки появлялись чаще, продолжались

долее; я потерял аппетит, бледнел и худел с каждым днем; терял также и охоту заниматься ученьем; один только сон подкреплял меня. Внимательный Василий Петрович заметил, что мне вредно раннее вставанье, попробовал один раз не будить меня до восьми часов и увидел, что я тот день чувствовал себя гораздо лучше. Дядька мой ходил за мной с отцовской нежностью. Камашев пробовал несколько раз говорить мне строгие поучения и даже стращал наказанием, если я не буду держать себя, как следует благовоспитанному мальчику. Мою болезнь называл он бабловством, хандрою и дурным примером для других. Наконец, он приказал положительно отдать меня в больницу; этого желали все, и я сам; противился только один Бенис; но теперь он должен был согласиться, и меня отвели в лазарет.

Моя мать, уезжая в последний раз из Казани, заставила моего дядьку Евсеича побожиться перед образом, что он уведомит ее, если я сделаюсь болен. Он давно порывался исполнить свое обещание и открылся в этом Упадышевскому, но тот постоянно его удер-

живал; теперь же он решился действовать, не спрашиваясь никого: один из грамотных дядек написал ему письмо, в котором без всякой осторожности и даже несправедливо, он извещал, что молодой барин болен падучею болезнию и что его отдали в больницу. Можно себе представить, каким громовым ударом разразилось это письмо над моим отцом и матерью. Письмо шло довольно долго и пришло в деревню во время совершенной распутицы, о которой около Москвы не могут иметь и понятия; дорога прорывалась на каждом шагу, и во всяком долочке была зажора, то есть снег, насыщенный водою; ехать было почти невозможно. Но мать мою ничто удержать не могло; она выехала тот же день в Казань с своей Парашей и молодым мужем ее Федором; ехала день и ночь на переменных крестьянских, неподкованных лошадях,[6] в простых крестьянских санях в одну лошадь; всех саней было четверо: в трех сидело по одному человеку без всякой поклажи, которая вся помещалась на четвертых санях. Только таким образом была какая-нибудь возможность двигаться шаг за шагом вперед, и то пользу-

ясь морозными утренниками, которые на этот раз продолжались, по счастью, до половины апреля. В десять дней дотащила моя мать до большого села Мурзихи на берегу Камы; здесь вышла уже большая почтовая дорога, крепче уезженная, и потому ехать по ней представлялось более возможности, но зато из Мурзихи надобно было переехать через Кама, чтоб попасть в село Шуран, находящееся, кажется, в восьмидесяти верстах от Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посинела; накануне перенесли через нее на руках почту, но в ночь пошел дождь, и никто не согласился переправить мою мать и ее спутников на другую сторону. Мать моя принуждена была ночевать в Мурзихе; боясь каждой минуты промедления, она сама ходила из дома в дом по деревне и умоляла добрых людей помочь ей, рассказывала свое горе и предлагала в вознаграждение все, что имела. Нашлись добрые и смелые люди, понимавшие материнское сердце, которые обещали ей, что если дождь в ночь уймется и к утру хоть крошечку подмерзнет, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмут то, что она

пожалует им за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя в углу на коленях перед образом той избы, где провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана: ветер разогнал облака, и к утру мороз высушил дорогу и тонким ледочком затянул лужи. На заре шестеро молодцов, рыбаков по промыслу, выросших на Каме и привыкших обходиться с нею во всяких ее видах, каждый с шестом или багром, привязав за спины нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крест, взяли под руки обеих женщин, обутых в мужские сапоги, дали шест Федору, поручив ему тащить *чуман*, то есть широкий лубок, загнутый спереди кверху и привязанный на веревке, взятый на тот случай, что неравно барыня устанет, — и отправились в путь, пустив вперед самого расторопного из своих товарищей для ощупывания дороги. Дорога лежала вкось, и надобно было пройти около трех верст. Переход через огромную реку в такое время так страшен, что только привычный человек может совершить его, не теряя бодрости и присутствия духа. Федор и Параша просто ревели, прощались с белым светом и со

всеми родными, и в иных местах надобно было силою заставляя их идти вперед; но мать моя с каждым шагом становилась бодрее и даже веселее. Провожатые поглядывали на нее и приветливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыньи, перебираться по сложенным вместе шестам через трещины; мать моя нигде не хотела сесть на чуман, и только тогда, когда дорога, подошед к противоположной стороне, пошла возле самого берега по мелкому месту, когда вся опасность миновалась, она почувствовала слабость; сейчас постлали на чуман меховое одеяло, положили подушки, мать легла на него, как на постель, и почти лишилась чувств: в таком положении дотащили ее до ямского двора в Шуране. Мать моя дала сто рублей своим провожатым, то есть половину своих наличных денег, но честные люди не захотели ими воспользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнациями). С изумлением слушая изъявление горячей благодарности и благословения моей матери, они сказали ей на прощанье: «Дай вам бог благополучно доехать» — и немедленно отправились

домой, потому что мешкать было некогда: река прошла на другой день. Все это подробно рассказала мне Параша. Из Шурана в двое суток мать моя доехала до Казани, остановилась где-то на постоялом дворе и через полчаса уже была в гимназии.

Обращаюсь назад: в больнице поместили меня очень хорошо; дали особую, небольшую комнату, назначенную для тяжелых больных, которых на ту пору не было; там спал со мною мой дядька, переведенный в больничные служители. Лекарь или подлекарь, хорошенько не знаю, Андрей Иванович Риттер, жил подле меня. Это был рослый, румяный, красивый и веселый детина; он, впрочем, сидел дома только по утрам, ожидая Бениса, после которого немедленно отправлялся на практику, которую действительно имел в купеческих домах; он был большой гуляка и нередко возвращался домой поздно и в нетрезвом виде. Удивляюсь, как терпел его главный надзиратель; впрочем, на больных он обращал менее внимания, чем на здоровых, и в больнице Упадышевский имел больше весу. Я совершенно забыл имя и фамилию

добротного старика, бывшего тогда больничным надзирателем, хотя очень помню, как он был попечителен и ласков ко мне. Упадъшевский сейчас позаботился, чтобы мне не было скучно, и снабдил меня книгами: «Детским училищем» в нескольких томах, «Открытием Америки» и «Завоеванием Мексики». Как я обрадовался тишине, спокойствию и книгам! Халат вместо мундира, полная свобода в употреблении времени, отсутствие звонка и чтение были полезнее для меня всяких лекарств и питательной пищи. Колумб и Пизарро возбуждали все мое любопытство, а несчастный Монтесума — все мое участие. Прочитав в несколько дней «Открытие Америки» и «Завоевание Мексики», я принялся и за «Детское училище». При этом чтении случилось со мной обстоятельство, которое привело меня в великое недоумение и которое я разрешил себе отчасти только впоследствии. Читая, не помню который том, дошел я до сказки «Красавица и Зверь»; с первых строк показалась она мне знакомою и чем далее, тем знакомее; наконец, я убедился, что это была сказка, коротко известная мне под именем: «Аленький

цветочек», которую я слышал не один десяток раз в деревне от нашей ключницы Пелагеи. Ключница Пелагея была в своем роде замечательная женщина: очень в молодых годах бежала она, вместе с отцом своим, от прежних господ своих Алакаевых в Астрахань, где прожила с лишком двадцать лет; отец ее скоро умер, она вышла замуж, овдовела, жила внайма по купеческим домам и в том числе у купцов персиян, соскучилась, проведала как-то, что она досталась другим господам, именно моему дедушке, господину строгому, но справедливому и доброму, и за год до его смерти явилась из бегов в Аксаково. Дедушка, из уважения к такому добровольному возвращению, принял ее очень милостиво, а как она была проворная баба и на все мастерица, то он полюбил ее и сделал ключницей. Должность эту отправляла она и в Астрахани. Пелагея, кроме досужества в домашнем обиходе, принесла с собою необыкновенное дарование сказывать сказки, которых знала несчетное множество. Очевидно, что жители Востока распространили в Астрахани и между русскими особенную охоту к слушанью и рассказы-

ванью сказок. В обширном сказочном каталоге Пелагеи вместе со всеми русскими сказками находилось множество сказок восточных, и в том числе несколько из «Тысячи и одной ночи». Дедушка обрадовался такому кладу, и как он уже начинал хворать и худо спать, то Пелагея, имевшая еще драгоценную способность не дремать по целым ночам, служила большим утешением больному старику. От этой-то Пелагеи наслушался я сказок в долгие зимние вечера. Образ здоровой, свежей и дородной сказочницы с веретеном в руках за гребнем неизгладимо врезался в мое воображение, и если бы я был живописец, то написал бы ее сию минуту, как живую. Содержанию «Красавица и Зверь», или «Аленький цветочек», суждено было еще раз удивить меня впоследствии. Через несколько лет пришел я в Казанский театр слушать и смотреть оперу «Земира и Азор» — это был опять «Аленький цветочек» даже в самом ходе пьесы и в ее подробностях.

Между тем, несмотря на занимательное чтение, на сладкие, ничем не стесняемые, разговоры с Евсеичем про деревенскую

жизнь, удочку, ястребов и голубей, несмотря на удаление от скучного школьного шума и тормошенья товарищей, несмотря на множество пилюль, порошков и микстур, глотаемых мною, болезнь моя, сначала как будто уступившая лечению и больничному покою, не уменьшалась, и припадки возобновлялись по нескольку раз в день; но меня как-то не смущали они, и сравнительно с прежним я был очень доволен своим положением. Больница помещалась в третьем этаже, окнами на двор. Здание гимназии (теперешний университет) стояло на горе; вид был великолепный: вся нижняя половина города с его Суконными и Татарскими слободами, Булак, огромное озеро Кабан, которого воды сливались весной с разливом Волги, — вся эта живописная панорама расстилалась перед глазами. Я очень помню, как ложились на нее сумерки и как постепенно освещалась она утренней зарей и восходом солнца. Вообще пребывание в больнице оставило во мне навсегда тихое и отрадное воспоминание, хотя никто из товарищей не навещал меня. Приходили только один раз Княжевичи, с которыми, однако, я тогда еще

близко не сошелся, потому что мало с ними встречался: они были в средних классах и жили во «французской комнате» у надзирателя Мейснера. Притом я был так занят собою, или, лучше сказать, своим прошедшим, что не чувствовал и не показывал ни малейшего к ним расположения; я подружился с Княжевичами уже во время вторичного моего вступления в гимназию, особенно в университете.

Домой я писал каждую почту, уведомляя, что я совершенно здоров. Вдруг, в один понедельник, не получил я письма от матери. Я встревожился и начал грустить; в следующий понедельник опять нет письма, и тоска овладела мною. Напрасно уверял меня дядька, что теперь распутица, что из Аксакова нельзя проехать в Бугуруслан (уездный город, находящийся в двадцати пяти верстах от нашей деревни), — я ничего не хотел слушать; я хорошо знал и помнил, что, несмотря ни на какое время, каждую неделю ездили на почту. Я не знаю, что бы со мной было, если б и в третий срок я не получил письма; но в середине недели, именно поутру в среду 14 апреля, мой

добрый Евсеич, после некоторого приготовления, состоявшего в том, что «верно, потому нет писем, что матушка сама едет, а может быть, и приехала», объявил мне с радостным лицом, что Марья Николаевна здесь, в гимназии, что без доктора ее ко мне не пускают и что доктор сейчас приедет. Несмотря на приготовление, мне сделалось дурно. Когда я очнулся, первые мои слова были: «Где маменька?» Но возле меня стоял Бенис и бранил ни в чем не виноватого Евсеича: как бы осторожно ни сказали мне о приезде матери, я не мог бы принять без сильного волнения такого неожиданного и радостного известия, а всякое волнение произвело бы обморок. Доктор был совершенно убежден в необходимости дозволить свидание матери с сыном, особенно когда последний знал уже о ее приезде, но не смел этого сделать без разрешения главного надзирателя или директора; он послал записки к обоим. От директора пришло позволение прежде, и когда мать была уже у меня в комнате, получили приказание от Камашева: «дождаться его приезда». — Не нахожу слов и не беру на себя рассказать, что чувствовал

я, когда вошла ко мне моя мать. Она так похудела, что можно было не узнать ее; но радость, что она нашла дитя свое не только живым, но гораздо в лучшем положении, чем ожидала (ибо чего не придумало испуганное воображение матери), — так ярко светилась в ее всегда блестящих глазах, что она могла показаться и здоровою и веселою. Я забыл все, что вокруг меня происходило, обнял свою мать и несколько времени не выпускал ее из моих детских рук. Через несколько минут явился Камашев. Холодно и вежливо он сказал моей матери, что для нее нарушен существующий порядок в гимназии, что никому из родственников и родителей не позволено входить во внутренние комнаты учебного заведения, что для этого назначена особая приемная зала, что вход в больницу совершенно воспрещен и что особенно это неприлично для такой молодой и прекрасной дамы. Кровь бросилась в лицо моей матери, и по своей природной вспыльчивости она много лишнего наговорила Камашеву. Она сказала между прочим, «что верно, только в их гимназии существует такой варварский закон,

что матери везде прилично быть, где лежит ее больной сын, и что она здесь с дозволения директора, непосредственного начальника его, г. главного надзирателя, и что ему остается только повиноваться». Мать вонзила нож в самое больное место. Камашев побледнел. Он сказал, что директор дозволил это только для первого раза, что приказание его исполнено, что, вероятно, оно не повторится и что он просит теперь ее уехать... Но Камашев не знал моей матери и вообще не знал материнского сердца. Мать моя сказала ему, что она не выйдет из этой комнаты, покуда директор сам лично или письменно не прикажет ей уехать, и что до той поры только силою можно удалить ее от сына. Все это было сказано таким голосом, с такой энергией, что не оставляло сомнения в точности исполнения. Она взяла стул, пододвинула к моей кровати и села на нем, оборотясь спиной к Камашеву. Не знаю, что бы сделал этот последний, если бы Бенис и Упадышевский не упростили его выйти в другую комнату: там доктор, как я узнал после от Василья Петровича, с твердостью сказал главному надзирателю, что если он

позволит себе какой-нибудь насильственный поступок, то он не ручается за несчастные последствия и даже за жизнь больного, и что он также боится за мать. Упадышевский, с своей стороны, умолял пощадить бедную женщину, которая в отчаянии не помнит себя, а всего более пощадить больного мальчика, и обещал ему, что он уговорит мать мою уехать через несколько времени. Камашев весьма неохотно согласился и вместе с Бенисом отправился для донесения обо всем директору. Упадышевекий воротился к моей матери, старался ее успокоить и сказал, что она может остаться у меня часа на два. Мать пробыла у меня до сумерек, почти до шести часов вечера. Сцена с Камашевым сначала сильно меня испугала, и я начинал уже чувствовать обыкновенное сжатие в груди; но он ушел, и присутствие матери, ее ласки, ее разговоры, радость — не допустили явления припадка. На прощанье мать с твердостью сказала мне, что возьмет меня совсем из гимназии и увезет в деревню. Я совершенно поверил ей. Я привык думать, что маменька может сделать все, что захочет, и счастливая будущность засияла

предо мной всеми радужными цветами счастливого прошедшего.

Мать моя отправилась из гимназии прямо к Бенису: его не было дома. Она бросилась (в буквальном смысле) к ногам его жены и, обливаясь слезами, умоляла, чтобы ей возвратили из гимназии сына. Мадам Бенис, понимавшая материнские чувства, приняла живое участие и уверила ее, что Христиан Карлыч сделает все, что может, что она за него ручается. Доктор скоро приехал. Обе женщины, каждая по-своему, приступили к нему с просьбами, но Бениса убеждать было не нужно; он сказал, что это его собственная мысль, что он уже намекнул об этом директору, но что, по несчастию, вместе с ним был главный надзиратель, который сильно этому воспротивился и, кажется, успел склонить директора на свою сторону; что директор хотя человек слабый, но не злой; что надежда на успех не потеряна. Тут мать рассказала все несправедливые придирки ко мне и постоянное преследование главного надзирателя. Бенис сам не любил его за присвоение власти, ему не принадлежащей; он не только не смягчил

раздражения моей матери, но усилил его, и она возненавидела Камашева как лютейшего своего и моего врага. Хозяева поступили с моей матерью, как друзья, как родные: уложили ее на диван и заставили съесть что-нибудь, потому что последние сутки она не пила даже чаю; дали ей какое-то лекарство, а главное уверили ее, что моя болезнь чисто нервная и что в деревне, в своей семье, я скоро совершенно оправлюсь. Решено было вести с главным надзирателем открытую войну. На другой день, поутру, мать моя должна была приехать к директору до приезда к нему Камашева с рапортом, выпросить позволения приезжать ко мне в больницу два раза в день и потом вымолить обещание: отпустить меня в деревню на попечение родителей впредь до выздоровления, если доктор найдет это нужным. Бенис просил только не жаловаться на Камашева, не говорить о нем ничего дурного и не упоминать об его личном нерасположении и преследованиях ее больного сына. Призывая благословение божие на доктора и его жену, высказав им все, что может высказать благодарное материнское сердце, мать уехала

отдохнуть на свою квартиру. Отдохновение было ей необходимо: двенадцать дней такой дороги, почти без сна и пищи, и целый день таких душевных мучительных волнений могли свалить с ног и крепкого мужчину, а мать моя была больная женщина. Но бог в немощных являет свою крепость и силу, и, уснув несколько часов, моя мать проснулась бодрою и твердою. В девять часов утра она сидела уже в гостиной директора. Он вышел немедленно и встретил ее с явным предубеждением, которое, однако, скоро прошло. Искренность горя и убедительность слез нашли путь к его сердцу; без большого труда он позволил матери моей приезжать в больницу каждый день по два раза и оставаться до восьми часов вечера; но просьба об увольнении меня из гимназии встретила большое сопротивление. Может быть, и тут слезы и мольбы одержали бы победу, но вдруг вошел главный надзиратель, и сцена переменилась. Директор возвысил голос и с твердостью сказал, что увольнять казенных воспитанников по нездоровью или потому, что они станут тосковать, расставшись с семейством, — дело

неслыханное: в первом случае это значит признаться в плохом состоянии врачебных пособий и присмотра за больными, а в последнем — это просто смешно: какой же мальчик, особенно избалованный, привыкший только заниматься детскими играми, не будет тосковать, когда его отдадут в училище? — Камашев сейчас присоединился к директору и поддержал его слова многими весьма рассудительными и в то же время язвительными речами. Он упомянул о вредных следствиях женского воспитания, материнского баловства и дурных примеров неуважения, непокорности, дерзости и неблагодарности. В заключение он сказал, что правительство не затем тратит деньги на жалованье чиновникам и учителям и на содержание казенных воспитанников, чтоб увольнять их до окончания полного курса ученья и, следовательно, не воспользоваться их службою по ученой части; что начальство гимназии особенно должно дорожить таким мальчиком, который по отличным способностям и поведению обещает со временем быть хорошим учителем. — Мать мою взорвала такая иезу-

итская двуличность; она забыла предостережение Бениса и весьма горячо и неосторожно высказала свое удивление, «что г. Камашев хвалит ее сына, тогда как с самого его вступления он постоянно преследовал бедного мальчика всякими пустыми придирками, незаслуженными выговорами и насмешками, надавал ему разных обидных прозвищ: *плаксы*, *матушкина сына* и проч., которые, разумеется, повторялись всеми учениками; что такое несправедливое гонение г. главного надзирателя было единственною причиною, почему обыкновенная тоска дитяти, разлученного с семейством, превратилась в болезнь, которая угрожает печальными последствиями; что она признает г. главного надзирателя личным своим врагом, который присвоивает себе власть, ему не принадлежащую, который хотел выгнать ее из больницы, несмотря на позволение директора, и что г. Камашев, как человек пристрастный, не может быть судьей в этом деле». Директор был несколько озадачен; но обозлившийся главный надзиратель возразил ей, «что она сама, по своей безрассудной горячности, портит все

дело; что в отсутствие его она пользовалась слабостью начальства, брала сына беспрестанно на дом, беспрестанно приезжала в гимназию, возвращалась с дороги, наконец через два месяца опять приехала, и что, таким образом, не дает возможности мальчику привыкнуть к его новому положению; что причиною его болезни она сама, а не строгое начальство и что настоящий ее приезд надевает много зла, потому что сын ее, который уже выздоравливал, сегодня поутру сделался очень болен». — При этих словах мать моя вскрикнула и упала в обморок. Добродушный директор ужасно перепугался и не знал, что делать. Обморок продолжался около часу; кое-как привели ее в чувство. Первые слова ее были: «Пустите меня к сыну». Перепуганный и сжалившийся директор, обрадованный, что мать моя по крайней мере не умерла (чего он очень опасался, как сам рассказывал после), подтвердил приказание Камашеву, чтобы мою мать всегда пускать в больницу, куда она сейчас и уехала. В больнице встретил ее доктор и по возможности успокоил. Он поклялся, что моя новая болезнь, лихорадка,

ничего не значит, что это следствие нервного потрясения и что она даже может быть полезна для моих обыкновенных припадков. В самом деле, первый лихорадочный пароксизм был очень легок, и хотя на другой день он повторился сильнее и хотя лихорадка в таком виде продолжалась две недели, но зато истерические припадки не возвращались. Мать почти целые дни проводила со мной. Директор несколько раз посещал больницу и всякий раз, встречая у меня мать, был с обоими нами очень ласков: ему жалко было смотреть на бледность и худобу моего лица; выразительные черты моей матери, в которых живо высказывалось внутреннее состояние души, также возбуждали его сочувствие. Когда Камашев хотел на другой день войти ко мне в комнату, мать моя непустила его и заперла дверь и потом упросила директора, чтобы главный надзиратель не входил ко мне при ней, говоря, что она не может равнодушно видеть этого человека и боится испугать больного таким же обмороком, какой случился в доме г. директора; он очень его помнил и согласился. Главный надзиратель обиделся и не

ходил ко мне совсем.

Между тем намерение взять меня из гимназии, подкрепляемое согласием Бениса, остановленное на время моею новою болезнью, приняло официальный ход. Желая посоветоваться наперед в этом деле с друзьями, мать ездила к Максиму Дмитриевичу Княжевичу, но твердый, несколько грубый, хотя и добрый по природе, серб не одобрил этого намерения. «Нет, государыня моя, Марья Николавна, — сказал он, — не могу посоветовать взять сына, завернуть его в хлопочки, нежить и кормить сахаром, увезти в деревню, чтобы он бегал там с дворовыми мальчишками и вырос ни на что не годным неучем. Ну, какой выйдет из него мужчина? Откровенно скажу, что на месте Тимофея Степановича не позволил бы вам так поступать». Не понравились такие слова моей матери; она отвечала, что не думает воспитать своего сына неучем и деревенским повесой, но прежде всего хочет спасти его жизнь и восстановить его здоровье, — и более не видалась с Княжевичем. В Казани был дальний родственник моему отцу, советник палаты Михеев. Мать обрати-

лась к нему, и хотя он также не одобрил намерения и отказался хлопотать об его исполнении, но удовлетворил ее желанию, приказав написать просьбу в совет гимназии о моем увольнении. В просьбе было написано, что моя мать просит возвратить ей сына на время для восстановления его здоровья и что как скоро оно поправится, то она обязуется вновь представить меня в число казенных воспитанников. Вместе с этой просьбой поступило в совет донесение доктора Бениса. Он писал, что находит совершенно необходимым возвратить воспитанника Аксакова в родительский дом, именно в деревню; что моя болезнь такого рода, что только один деревенский воздух и жизнь на родине посреди своего семейства могут победить ее, что никакие медицинские средства в больнице не помогут, что припадки мои угрожают переходом в эпилепсию, которая может окончиться апоплексией, или повреждением умственных способностей. Не могу сказать, до какой степени было это справедливо; но доктор этим не удовлетвовался: он утверждал, что у меня есть какое-то расширение в коленках и горбова-

тость ножных костей, что для этого также нужно телодвижение на вольном воздухе и продолжительное употребление декокта (какого не помню), которым предлагал снабдить меня из казенной аптеки. Кажется, все последнее было несправедливо; хотя точно я имел очень толстые коленки, но у детей это часто бывает и проходит само собой. Тем не менее такие пустые наружные признаки были найдены впоследствии вполне уважительными. Началось дело в совете, в котором, под председательством директора, присутствовали главный надзиратель и трое старших учителей. Камашев, от которого прежде все зависело, употребил свое влияние, и учителя приняли его сторону. Директор колебался. Хотели дать предписание Бенису, чтоб он пригласил на консилиум инспектора врачебной управы и вновь испытал надо мной медицинские пособия, но Бенис предварительно объявил, что он не исполнит этого предписания и донесет совету, чтоб он скорее уволил меня, потому что, по прошествии лихорадки, сейчас оказались признаки возобновления прежних припадков, что и было совершенно справедли-

во. — Видя, что дело идет нехорошо, бедная мать моя пришла в совершенное отчаяние. Наконец, Бенис посоветовал ей просить директора, чтоб он приказал при себе освидетельствовать меня гимназическому доктору, вместе с другими посторонними докторами, и чтобы согласился с их мнением, — и мать моя поехала просить директора. Желая избавиться от скучных просьб и слез, он велел сказать, что никак не может принять ее сегодня и просит пожаловать в другое время; но как такой отказ был уже не первый, то мать приготовила письмо, в котором написала, «что это последнее ее посещение, что если он ее не примет, то она не выйдет из его приемной, куда ее не выгонят, и что, верно, он не поступит так жестоко с несчастной матерью». Делать было нечего. Директор вышел в гостиную и опять не устоял перед выражением истинной скорби и даже отчаяния. Он дал честное слово исполнить все, о чем просила его моя мать, — и сдержал свое слово. На другой же день состоялось определение гимназического совета, совершенно согласное с желанием Бениса и вчерашнею просьбою моей матери, че-

го, впрочем, никто не знал, кроме самого директора. Все, напротив, считали свидетельство посторонних врачей оскорблением для Бениса и были уверены, что врачи с ним не согласятся. Пригласили городского штаб-лекаря и одного из членов врачебной управы. Но Бенис, предварительно уверенный в их согласии с своим мнением, спокойно дожидался развязки; его уверенность успокоила несколько мою мать, которая в свою очередь старалась успокоить и меня. Она рассказывала мне с величайшей подробностью все свои поступки и все свои переговоры, она старалась уверить меня, что, несмотря на препятствия, надежда на успех ее не покидает; но я только по временам, и то ненадолго, обольщался этой надеждой: освобождение из каменного острога, как я называл гимназию, и возвращение в семейство, в деревню — казалось мне блаженством недостижимым, несбыточным. Переписка с властями о назначении докторов тянулась как-то медленно, и по настоянию главного надзирателя директор приказал выписать меня из больницы, потому что лихорадка моя совершенно прошла.

Бенис должен был согласиться. Я опять поступил в комнату к Упадышевскому и нашел кровать свою никем не занятою. После довольно продолжительного пребывания на свободе, в тихой и спокойной больничной комнате, стал еще противнее для меня весь порядок и шумный образ жизни посреди моих гимназических товарищей. Притом такое перемещение показалось мне зловещим признаком, что меня не хотят отпустить. Мать видалась со мной каждый день, но весьма на короткое время, и то в общей приемной зале. Все это вместе нагнало опять тоску на мою душу, и мои припадки появились с прежнею силою, как будто и не прекращались. Благодарение богу, такое мучительное состояние продолжалось недолго. Ровно через неделю, когда воспитанники после ужина сошли в спальные комнаты и начали раздеваться, Евсеич сунул мне в руку, записочку от матери и сказал: «Прочтите так, чтобы никто не видал». Мать писала ко мне, чтоб на другой день поутру я не вставал с постели, а сказал бы Василью Петровичу, что у меня ломают ноги, особенно коленки, и попросился бы в

больницу. Записочку приказано было сжечь, что я сейчас исполнил. Ложь была совершенно мне незнакома. Мать особенно строго за нее взыскивала, и я очень изумился такому приказанию. Хотя какая-то темная догадка мелькала у меня в уме, что эта ложь будет способствовать моему освобождению из гимназии, но я долго не мог заснуть, смущаясь, что завтра должен сказать неправду, которую и Василий Петрович и доктор сейчас увидят и уличат меня. На другой день, когда дядька стал меня будить, я сказал ему, что у меня болят ноги и что я хочу опять в больницу. Легкая улыбка искривила рот моего Евсеича, и он пошел доложить о том Упадышевскому, который, к удивлению моему, не обратив на это никакого внимания, весьма равнодушно сказал: «Хорошо; так пусть он не встает, я только провожу детей наверх, а потом приду за ним и отведу его в больницу». — Но товарищи не оставили меня в покое и многие из них, сдергивая с моей головы одеяло, которым я нарочно закрылся, спрашивали меня: «Отчего ты не встаешь?» Смущаясь и краснея, принужден я был солгать еще несколько раз.

Со смехом отвечали мне: «Ты врешь; лень учиться, в больнице понравилось!» Шумная ватага мальчиков, построясь в комнатный фронт, ушла наверх. Упадышевский воротился и, не расспросив меня о болезни, отвел в больницу и сдал с рук на руки подлекарю Риттеру и больничному надзирателю. Меня поместили в прежней комнате. В девять часов приехал Бенис и, начав меня осматривать, предупредил словами: «Верно, у вас разболелись ноги? Я этого ожидал», и, указывая подлекарю и надзирателю на мои коленки, он прибавил: «Посмотрите, как они в одну неделю распухли и жар в них усилился». Коленки мои были совершенно в прежнем положении, жара я не чувствовал и с изумлением заметил, что все как будто стоворились лгать. Еще более изумила меня мать, которая приехала вслед за Бенисом и без всякого смущения рассуждала с ним и с другими о моей новой небывалой болезни. Когда мы остались наедине, я посмотрел на нее с изумлением и спросил: «Маменька, что это значит?» Она обняла меня и сказала: «Что делать, мой друг! это необходимо, так приказал Бенис. На этих

дней тебя будут свидетельствовать другие доктора, и ты должен им сказать, что у тебя болят ноги, Христиан Карлыч уверяет, что оттого тебя выпустят из гимназии». Луч надежды блеснул в моей душе, хотя я не видел особенных причин предаваться ей. Через два дня, вечером, сказала мне мать, что завтра будут меня свидетельствовать, повторила мне все, что я должен говорить о болезни своих ног, и убеждала, чтоб я отвечал смело и не запинался. В следующий день, в одиннадцать часов, вошли ко мне в комнату: директор, главный надзиратель, Бенис с двумя неизвестными мне докторами, трое учителей, присутствовавших в совете, и Упадышевский. Небольшая моя комната наполнилась людьми, всем подали кресла, и все торжественно расселись около моей постели. Я так смутился, что мне сейчас начало делаться дурно; впрочем, я скоро оправился без лекарства и услышал, что Бенис рассказывает докторам историю моей болезни, иногда по-латыни, но большую часть по-русски; во многом он ссылался на Упадышевского, которого тут же спрашивали. Призван был также

мой дядька, которому было сделано несколько вопросов о состоянии моего здоровья до поступления в гимназию. Меня самого также очень много спрашивали; доктора часто подходили ко мне, щупали мою грудь, живот и пульс, смотрели язык; когда дело дошло до коленок и до ножных костей, то все трое обступили меня, все трое вдруг стали тыкать пальцами в мнимо больные места и заговорили очень серьезно и с одушевлением. Я помню, что часто упоминались слова: «лимфа, пасока, скорбут». Насилу кончилось это тягостное, очень утомившее меня свидетельство; оно продолжалось по крайней мере час. Когда все ушли, я немедленно заснул, а проснувшись, увидел сидящую предо мною мать и простывший больничный обед на столе. Мать моя, хотя надеялась, но решительного еще ничего не знала. Она немедленно уехала к Бенису и часа через два опять приехала ко мне с блистающим радостью лицом: доктора прямо от меня отправились в совет гимназии, где подписали общее свидетельство, в котором было сказано, что «совершенно соглашаясь с мнением г-на доктора Бениса, они считают необ-

ходимым возвратить казенного воспитанника Аксакова на попечение родителей в деревню; а к прописанному для больного декокту полагают нелишним прибавить такие-то медикаменты и предписать впоследствии крепительные холодные ванны». Директор положительно согласился, трое учителей последовали его примеру; но главный надзиратель остался при своем мнении и не подписал журнала;[7] впрочем, это ничему не мешало.

Итак, совершилось желанное событие, так долго казавшееся несбыточной мечтой! Мать моя сияла блаженством; она плакала, смеялась, всех обнимала, особенно Упадышевского и Евсеича, благодарила бога. Я был так счастлив, что по временам не верил своему счастью, думал, что я вижу прекрасный сон, боялся проснуться и, обнимая мать, спрашивал ее, «правда ли это?» Долее всех вечеров просидела она со мной, и Упадышевский не один раз приходил и просил ее уехать. Камашев не изменил себе до конца; он предложил совету взыскать с моей матери за пятимесячное пребывание мое в гимназии все издержки, употребленные на мое содержание и уче-

нье. Но директор не согласился на такое предложение, сказав, что воспитанника не исключают совсем, а только возвращают родителям до выздоровления. На третий день после свидетельства пригласили мою мать в совет, обязали ее подпиской представить в гимназию сына по выздоровлении и позволили взять меня. Мать прямо из совета в последний раз пришла в больницу; Евсеич передел меня в мое прежнее платье и сдал все казенные вещи и книги. С горячими слезами благодарности простились мы с Упадышевским и больничным надзирателем. Мать взяла меня за руку и, в сопровождении Евсеича, вывела на крыльцо... Я вскрикнул от радостного изумления: перед крыльцом стояла наша деревенская карета, запряженная четверкой наших доморощенных лошадей; на козлах сидел знакомый кучер, а на подседельной — еще более знакомый фореитор, всегда достававший мне червяков для уженья. Федор и Евсеич посадили меня в старую колымагу подле матери, и мы поехали на квартиру. Карета, люди и лошади были присланы отцом моим из деревни. Несмотря на радость, которою был не

только проникнут, но, можно сказать, ошеломлен, я так расплакался, прощаясь с Васильем Петровичем, что даже в деревенской карете продолжал плакать. В самом деле, доброта этого человека, его бескорыстное нежное участие, доходившее до самоотвержения, к людям совершенно посторонним стоили самой искренней благодарности; надобно к этому прибавить, что, находясь несколько лет в гимназии, он неминуемо должен был привыкнуть к подобным явлениям, а сердца, не покоряющиеся привычке, встречаются не часто. На квартире ожидали меня радостные слезы Параша и даже хозяйки дома, все той же капитанши Аристовой, которая также принимала участие в нашем положении.[8]

В тот же день, вечером, мы с матерью ездили к доктору Бенису благодарить и проститься. Надобно отдать должную справедливость и этому человеку, который, не знаю почему, имел в городе репутацию холодного «интересана», — что в отношении к нам он поступал обязательно и бескорыстно; он не только не взял с нас ни копейки денег, но даже не при-

нял подарка, предложенного ему матерью на память об одолженных им людях; докторам же, которые свидетельствовали меня, он подарил от нас по двадцать пять рублей за беспокойство, как будто за консилиум; разумеется, мать отдала ему эти деньги. Итак оставалось благодарить Бениса словами, слезами и молитвами за него богу — и мать благодарила так от души, так горячо, что Бенис и жена его были очень растроганы. Что касается до меня, то я как-то не растрогался, и хотя я очень хорошо знал, что единственно Бенису обязан за освобождение из гимназии, но я не заплакал и благодарил очень вяло и пошло, за что мать после мне очень пеняла. На другой день поутру мы отправились в собор и потом к Казанской божией матери и отслужили благодарственные молебны. Заехали к директору, но его не было дома или он не хотел нас принять. Воротясь домой, мы нашли у нас Василья Петровича, который еще раз пришел повидаться с нами и проститься. Он также отказался принять подарок на память и отвечал коротко и ясно: «Не обижайте меня, Марья Николавна». С ним прощался я совсем не

так, как с Бенисом: я ужасно расплакался; долго не могли меня унять, даже боялись возвращения припадка, но какие-то новые капли успокоили мое волнение; должно заметить, что это лекарство в последние дни уже в третий раз не допускало развиться дурноте. По уходе Упадышевского мы кое-как пообедали и сейчас принялись укладываться. Нам как-то страшно было оставаться в Казани, и каждый час промедления казался долгим днем; к вечеру все было готово. Вечер наступил теплый, совершенно летний, и мы с матерью легли спать в карете. На рассвете, без всякого шума, заложили лошадей и, не разбудив меня, тихо выехали из Казани. Когда я проснулся, яркое солнце светило в карету; Параша спала, а мать сидела возле меня и плакала самыми радостными, благодарными богу, слезами; это чувство так выразалось в ее глазах, что никто бы не опечалился, а скорее порадовался, увидя ее слезы. Она обняла свое ненаглядное дитя, и поток нежных речей и ласк высказал ее внутреннее состояние. Это было 19 мая, день рождения моей милой сестры. Прекрасное, даже жаркое, весеннее утро

настоящего майского дня обливало горячим светом всю природу. В окна кареты заглянули зеленые, молодые хлебные поля, луга и леса; мне так захотелось окинуть глазами все края далекого горизонта, что я попросил остановиться, выскочил из кареты и начал бегать и прыгать, как самое резвое пятилетнее дитя; тут только я вполне почувствовал себя на свободе. Мать любовалась, глядя на меня из кареты. Я обнял Евсеича и Федора, поздоровался с кучером и форейторм, который успел сказать мне, что рыба начинала шибко клевать, когда он уезжал из Аксакова. Я поздоровался также со всеми лошадьми: Евсеич взял меня на руки, поднял, и я погладил каждую из них. Это был славный шестерик бурой и караковой масти, такой породы лошадей, о какой давно и слуху нет в Оренбургской губернии; но лет двадцать помнили ее и говорили о ней. Лошади были крупные, четырехвершковые, сильные до невероятности, рысистые, не задумливые на бегу и не знавшие устали. В тяжелых экипажах делали на них по 80 и по 90 верст в день. — Боже мой, как было мне весело! Насилу усадили меня в карету, но я вы-

сунулся в окошко и ехал так до самой кормежки, радостными восклицаниями приветствуя все, что попадалось на дороге. Наконец, сверкнула полоса воды — это была река Мёша, не очень большая, но глубокая и чрезвычайно рыбная; по ней ходил довольно плохой плот на веревке. Мы переправлялись долго: лошадей ставили только по одной паре, а карету едва перевезли; ее облегчили от сундуков и других тяжестей, и, несмотря на то, плот погрузался в воду. Мы с матерью переехали прежде всех на другой берег; цветущая и душистая урема покрывала его. Я не помнил себя от восхищения. Запасливый фореитор, страстный охотник удить, взял с собою из деревни совсем готовую удочку с удилицем, которая и была привязана под каретой к дрожине; ее сейчас отвязали, и покуда совершалась переправа, я уже удил на хлеб и таскал плотву. Кроме Дёмы, я не видывал реки рыбнее Мёши; рыба кипела в ней, как говорится, и так брала, что только успевай закидывать. Мудрено ли, что после освобождения из гимназического плена эта кормежка показала мне блаженством! На оставленном на-

ми берегу находилась чья-то господская деревня; там достали овса, сена, курицу, яиц и все нужные припасы. Какой обед на дорожном тагане приготовил нам Евсеич, который был немножко и повар! Скворода жареной рыбы также показалась очень вкусным блюдом. Мы уже отъехали тридцать верст от Казани, кормили четыре часа и пустились в дальнейший путь. Набежали тучи, загредел гром, дождь вспрыснул землю, и ехать было не жарко и не пыльно; сначала ехали шагом, а потом побежали такой рысью, что уезжали более десяти верст в час. Скоро небо прояснилось, и великолепное солнце осушило следы дождя; мы отъехали еще сорок верст и остановились ночевать в поле, потому что на кормежке запаслись всем нужным для ночевки. Опять множество новых удовольствий, новых наслаждений! Выпрягли, спутали лошадей и пустили их на сочную молодую траву; развели яркий огонь, наложили дорожный самовар, то есть огромный чайник с трубою, постлали кожу возле кареты, поставили погребец и подали чай. Как он был хорош на свежем вечернем воздухе! Через два часа напои-

ли остывших коней, разбили хребтуги с овсом, привязав их к дышлу и вколоченным в землю кольям, и припустили к овсу лошадей. Мы с матерью и с Парашей улеглись в карете, и сладко заснул я, слушая, как жевали кони овес и фыркали от попадавшей в ноздри пыли. На другой день поутру мы переправились, немного повыше Шурана, через Каму, которая была еще в разливе. Я боялся (и теперь боюсь) большой воды, а тогда дул порядочный ветер. На перевозе оказалась *посуда*, [9] большая и новая: на одну завозню поставили всех лошадей и карету; меня заперли в нее с Парашей, опустили даже гардинки и подняли жалюзи, чтоб я не видал волнующейся воды; но я сверх того закутал голову платком и все-таки дрожал от страха во все время переправы; дурных последствий не было. Весенняя пристань находилась еще в Мурзихе; летом она спускалась несколько верст ниже. Мать отыскала в Мурзихе своих провожатых; она всем привезла хорошие гостинцы: подарки были приняты без удивления, но с удовольствием и благодарностью. Мы проехали еще пятнадцать верст до места своей кормежки. Так

продолжался наш путь, а на пятый день приехали мы ночевать в деревню Татарский Байтуган, лежащую на реке Сок, всего в двадцати верстах от Аксакова. Река Сок также очень рыбна, но, боясь вечерней сырости, мать не пустила меня поудить, а фореитор сбегал и принес несколько окуней и плотиц. Поднявшись с ночлега по обыкновению на заре, мы имели возможность не заехать в село Неклюдово, где жили родные нам по бабушке, Кальминские и Луневские, а также и в Бахметевку, где недавно поселился новый помещик Осоргин с молодою женою: и мы и они еще спали во время нашего проезда. Версты за четыре до Аксакова, на самой меже нашего владения, я проснулся, точно кто-нибудь разбудил меня; когда проехали мы между Липовым и Общим колком[10] и выехали на склон горы, должно было немедленно открыться наше Аксаково с огромным прудом, мельницей, длинным порядком изб, домом и березовыми рощами. Я беспрестанно спрашивал кучера: «Не видно ли деревни?» И когда он сказал, наконец, наклонясь к переднему окошку: «Вот наше Аксаково, как на ладонке», — я стал так

убедительно просить мою мать, что она не могла отказать мне и позволила сесть с кучером на козлах. Не берусь передать, что чувствовало мое сердце, когда я увидел милое мое Аксаково! Нет слов на языке человеческом для выражения таких чувств!..

Во все течение моей жизни я продолжал испытывать, приближаясь к Аксакову, подобные ощущения; но несколько лет тому назад, после двенадцатилетнего отсутствия, также довольно рано подъезжал я к тому же Аксакову: сильно билось мое сердце от ожидания, я надеялся прежних радостных волнений! Я вызвал милое прошедшее, и рой воспоминаний окружил меня... но не весело, а болезненно, мучительно подействовали они на мою душу, и мне стало невыразимо тяжело и грустно. Подобно волшебнику, который, вызвав духов, не умеет с ними сладить и не знает, куда от них деваться, — не знал я, как мне прогнать мои воспоминания, как успокоить нерадостное волнение. Старые меха не выдерживают молодого вина, и старое сердце не выносит молодых чувств... но тогда, боже мой, что было тогда!

Несколько раз я чувствовал стеснение в груди и готов был упасть; но я молчал, крепко держался за ручку козел и за кучера, и стеснение проходило само собою. — Быстро скатилась карета под изволок, переехала через плохой мост на Бугуруслане, завязла было в топи у Крутца, но, выхваченная сильными конями, пронеслась мимо камышей, пруда, деревни — и вот наш сельский дом, и на крыльце его отец с милой моей сестрицей. Когда мы подъехали, она всплеснула ручонками и закричала: «Братец Сереженька на козлах!..» Выбежала тетка и вывела брата, кормилица вынесла маленькую мою сестру! Сколько объятий, поцелуев, радости, вопросов и ответов! Сбежалась вся дворня, даже крестьяне, случившиеся дома, и куча мальчишек и девочек. Отец мой очень обрадовался; он не верил, чтоб удалось высвободить меня из гимназии; последнюю неделю некогда было писать к нему из Казани, и он ничего не знал, что там происходило.

ГОД В ДЕРЕВНЕ

Первые дни были днями самозабвения и суматошной деятельности. Прежде всего я навестил своих голубей и двух перезимовавших ястребов. Я обегал все знакомые, все любимые места, а их нашлось немало. Около дома, в саду, в огороде и в ближайшей роще с грачовыми гнездами везде бегала со мною сестрица, уцепясь за мою руку, и даже показывала, как хозяйка, кое-что сделанное без меня и в том числе огромную и высокую паровую грядку из навоза, на которой были посажены тыквы, арбузы и дыни. Сбегали мы также с ней и в кладовые амбары, где хранилось много драгоценностей: медные, железные и резной костью оклеенные ларцы с разными штуфами и окаменелостями, подаренными некогда моей матери каким-то важным горным чиновником; посетили и ключницу Пелагею на погребке и были угощены холодными густыми сливками с черным хлебом. Но к реке и за реку сестрице не позволяли ходить со мною, и туда провожал меня Евсеич. Мы перешли с ним через мосточки на пер-

вый остров, где стояла летняя кухня и лежали широкие лубки, на которых сушили мытую пшеницу. Этот островок окружала с двух сторон старица Бугуруслана, которая начинала пересыхать и зарастать таловыми кустами, мы перебрались через нее по жердочкам и сейчас перешли на другой остров побольше, также с одного боку окруженный старицей, но еще глубокой и прозрачной. Это было любимое место моей тетки Евгеньи Степановны, все засаженное по берегу реки березами и пересеченное посредине липовой аллеей. Очевидно, что это место давно понравилось еще моему дедушке и что он засадил его деревьями задолго до рождения меньшей своей дочери Евгеши, как он называл ее, потому что деревьям было лет по пятидесяти, а дочери — тридцать пять. Евгенья Степановна хотя не получила никакого воспитания, как и все ее сестры, но имела в душе какое-то влечение к образованности и любовь к природе. У ней водились кое-какие книжечки: старинные романы (вероятно, доставленные ей братом) и театральные пьески. Разумеется, я все их перечитал с дозволения и без дозволения; осо-

бенно помню один водевильчик под названием: «Драматическая пустельга». Тетка любила читать книжку на острове и удить рыбку в глубокой старице. На многих березах вырезала она свое имя и числа разных годов и месяцев, даже какие-то стишки из песенника. Как я любил этот остров!.. Как хорошо было на нем в летние жары! Прохладная тень и кругом вода! С одной стороны — новая канавка, идущая от вешняка, соединялась с водой, быстро бегущей из-под мельницы, а с другой — прежнее русло Бугуруслана, еще глубокое и прозрачное, огибало остров. Без сердечного трепета, без замиранья сердца не могу я до сих пор вспомнить летнего полдня на этом острове. Теперь все переменялось. Старица почти высохла; другая новая канавка отвела воду от вешняка в другую сторону; везде разросся тальник и ольха, и остров уже понапрасну сохраняет свое имя. Впрочем, если взять все пространство земли, идущее до плотины, то с натяжкой оно может еще называться прежним именем. Налюбовавшись досыта островом, оглядев каждое дерево, перечитав все тетушкины надписи, насмотрев-

шись на головлей и язей, гулявших или неподвижно стоявших в старице, отправились мы с Евсеичем на мельницу; но я забежал на Антошкины мостки, где часто уживал пескарей, и на кузницу, где я любил смотреть, как прядали искры из-под молота, ковавшего раскаленное железо. Когда же я взбежал на плотину и широкий пруд открылся передо мной с своими зелеными камышами и лопухами, с длинною плотиною, обраставшею молодыми ольхами, с целым миром своего птичьего и рыбьего населения, с вешняком, каузом и мельницей, — я оцепенел от восторга и простоял как вкопанный несколько минут. Мельник, по прозванию Болтуненок, очень меня любивший, приготовил мне неожиданную потеху: он расставил в травах несколько жерлиц на щук и нарочно не смотрел их до моего прихода; он знал, что я приду непременно; он посадил меня с Евсеичем в лодку и повез полями до травы; вода была очень мелка, и тут я не боялся. Я сам вынимал каждую жерлицу, и на одной из них сидела большая щука, которую я вытащил с помощью Евсеича и с торжеством нес на своих руках до самого дома.

Потом дни через два отец свозил меня поудить и в *Малую* и в *Большую Урему*; он ездил со мной и в *Антошкин враг*, где на самой вершине горы бил сильный родник и падал вниз пылью и пеной; и к *Колоде*, где родник бежал по нарочно подставленным липовым колодам; и в *Мордовский враг*, где ключ вырывался из каменной трещины у подошвы горы; и в *Липовый*, и в *Потаенный колок*, и на пчельник, между ними находившийся, состоящий из множества ульев. Там жил постоянно, и лето и зиму, старый пчеляк в землянке, также большой мой приятель, у которого был кот *Тимошка* и кошка *Машка*, названные так в честь моего отца и матери.

В таких-то приятных суетах и хлопотах прошли первые две недели после нашего приезда в Аксаково. Нечего и говорить, как была счастлива моя мать, видя меня веселым, бодрым и, по-видимому, здоровым. Она еще в Казани взяла свои меры, чтоб не пропало в совершенной праздности время моей деревенской жизни, и запаслась учебными гимназическими книжками. Постоянно думая, что если я, по милости божией, поправлюсь здо-

ровьем, может быть, через год, то все же надобно будет представить меня опять в гимназию, — она назначила мне от двух до трех часов в день для повторения всего, чему я учился, для занятия чистописанием и чтением ей вслух разных книг, приличных моему возрасту. Я исполнял это очень охотно, и деревенские удовольствия становились для меня еще приятнее после занятий. Я принялся также доучивать мою милую ученицу, маленького моего друга, мою сестрицу, и на этот раз с совершенным успехом.

Я уже сказал, что, по-видимому, казался здоровым, но на деле вышло не совсем так. Правда, по выходе из гимназии не было у меня ни одного припадка, дорогой даже прошли стеснения и биения сердца и в деревне не возобновлялись; но я стал каждую ночь бредить во сне более, сильнее обыкновенного. Сначала мать моя не придавала этому бреду никакой значительности, все приписывая излишнему беганью и живости детских впечатлений, тем более что до поступления в гимназию я часто грезил, чему подвержены бывают многие дети. Но теперь это начало прини-

мать мало-помалу другой характер. Во-первых, я стал бредить постоянно всякую ночь очень сильно, иногда по нескольку раз. Во-вторых, я стал не только говорить во сне, но вскакивать с постели, плакать, рыдать и выбегать в другие комнаты. Я спал вместе с отцом и матерью в их спальне, и кроватка моя стояла возле их кровати; дверь стали запира-ть изнутри на крючок, и позади ее в коридорчике спала ключница Пелагея, для того чтобы убежать сонному не было мне никакой возможности. Ночной бред, усиливаясь день ото дня, или, правильнее сказать, ночь от ночи, обозначился, наконец, очевидным сходством с теми припадками, которым в гимназии я подвергался только в продолжение дня; я так же плакал, рыдал и впадал в беспамятство, которое переходило в обыкновенный крепкий сон. Но эти ночные новые припадки были гораздо сильнее и страшнее прежних дневных припадков и проявлялись с большим разнообразием. Иногда это был тихий плач и рыданья, всегда с прижатыми к груди руками, с невнятным шепотом каких-то слов, продолжавшиеся целые часы и переходившие в

бешенство и судорожные движения, если меня начинали будить, чего впоследствии никогда не делали; утомившись от слез и рыданий, я засыпал уже сном спокойным; но большого труда стоило, особенно сначала, чтоб окружающие могли вытерпеть такое жалкое зрелище, не попробовав меня разбудить и помочь мне хоть чем-нибудь. Мне рассказывали после, что не только мать, которая невыразимо терзалась, глядя на меня, но и отец, тетка и все, кто около меня были, сами надрывались от слез, смотря на мои мучительные слезы и рыданья. — Иногда я вдруг вскакивал на ноги с пронзительным криком, дико глядел во все глаза и, беспрестанно повторяя: «Пустите меня, дальше, прочь, мне нельзя, не могу, где он, куда идти!» — и тому подобные отрывистые, ничего не объясняющие слова, — я бросался к двери, к окну или в углы комнаты, стараясь пробиться куда-то, стуча руками и ногами в стену. В это время у меня была такая сила, что двое и трое не могли удержать меня, и я, обливаясь потом, таскал их по комнате. Этого роду припадок всегда оканчивался сильным обмороком, в продолжение которо-

го трудно было заметить, что я дышу; обморок переходил постепенно в сон, сначала несколько беспокойный, но потом глубокий и тихий, продолжавшийся иногда часов до девяти утра. После тихих слез и рыданий я просыпался бодрый и живой, как будто всю ночь проспал спокойно; но после исступленного вскакивания и какого-то бешенства я бывал несколько слаб, бледен, как будто утомлен; впрочем, все это скоро проходило, и я целый день весело учился, бегал и предавался своим охотам. Проснувшись, я ничего ясно не помнил: иногда смутно представлялось мне, что я видел во сне что-то навалившееся и душившее меня или видел страшилищ, которые за мной гонялись; иногда усилия меня державших людей, невольно повторявших ласковые слова, которыми уговаривали меня лечь на постель и успокоиться, как будто пробуждали меня на мгновение к действительности, и потом совсем проснувшись поутру, я вспоминал, что ночью от чего-то просыпался, что около меня стояли мать, отец и другие, что в кустах под окнами пели соловьи и кричали коростели за рекою. Мать моя не знала, что и

делать; особенно пугало ее то, что во время обморока показывались у меня на лице судорожные подергиванья и пена на губах, признак зловещий. Мысль, что это может быть в самом деле падучая болезнь, задолго пропороченная Евсеичем в его письме, — приводила ее в ужас. Капли, предписанные Бенисом, она перестала давать; кровочистительного декокта, полученного из казенной аптеки, во все не употребляла, хотя Бенис советовал попить его, подозревая во мне золотуху, которой никогда не бывало. Мать позволила мне купаться в реке, думая, что купанье может укрепить меня: оно мне очень нравилось, но пользы не приносило. Мать обратилась к Бенису и так мастерски написала историю моей болезни, что доктор пришел в восхищение от ее описания, благодарил за него, прислал мне чай и пилюли и назначил диету. Все исполняли с большой точностью, но облегчения болезни не было; напротив, припадки становились упорнее, а я слабее. Чай и пилюли бросили, принялись за докторов простонародных, за знахарей и знахарок. Все говорили, что дитя испорчено, что мне попритчилось; умыва-

ли, обливали, окуривали меня — все без успеха. Я совсем не против народной медицины и верю ей, особенно в соединении с магнетизмом; я давно отрекся от презрительного взгляда, с которым многие смотрят на нее с высоты своего просвещения и учености; я видел столько поразительных и убедительных случаев, что не могу сомневаться в действительности многих народных средств; но мне тогда не помогли они, может быть оттого, что не попадали на мою болезнь, а может быть и потому, что мать не согласилась давать мне лекарства внутрь. Помню, однако, что я долго принимал, по совету одной соседки, папоротник в порошке, для чего употреблялись самые молоденькие побеги его, выходящие, наподобие гребешка, непосредственно из корня, между большими прорезными листьями или ветвями этого растения. Папоротник также не помог. Наконец, обратились к самому известному лекарству, которое было в большом употреблении у нас в доме еще при дедушке и бабушке, но на которое мать моя смотрела с предубеждением и до этих пор не хотела о нем слышать, хотя тетка давно предлагала

его. Это лекарство называлось «припадочные, или росные, капли», потому что росный ладан составлял главное их основание; их клали по десять капель на полрюмки воды, и вода белела, как молоко. Число капель ежедневно прибавлялось по две и доводилось до двадцати пяти на один прием, всегда на ночь. Мне начали их давать, и с первого приема мне стало лучше; через месяц болезнь совершенно прошла и никогда уже не возвращалась. Когда довели до двадцати пяти капель, то стали убавлять по две капли и кончили десятью; я не переставал купаться и не держал ни малейшей диеты. Сколько было бы шуму, если б так чудотворно вылечил меня какой-нибудь славный доктор! Отдохнула моя бедная мать, и отец, и все меня окружающие, особенно ключница Пелагея, которая постоянно возилась со мной во время припадков, сказывала сказки мне с вечера и продолжала их даже тогда, когда я спал; мать моя была так обрадована, как будто в другой раз взяла меня из гимназии. — Вот как часто ищем мы исцеления вдалеке, когда оно давно находится у нас в руках. — Возвращаюсь несколько

назад.

Несмотря на страшный характер моей болезни, ни ученье мое, ни деревенские удовольствия не прекращались во все время ее продолжения; только и тем и другим, когда припадки ожесточались, я занимался умереннее и мать следила за мной с большим вниманием и не отпускала от себя надолго и далеко. Каждый день поутру, покуда не так было жарко, отправлялся я с Евсеичем удить. Самое лучшее ужение находилось у нас в саду, почти под окнами, потому что пониже Аксакова, в мордовской деревне *Кивацкое*, была мельница и огромный пруд, так что подпруда воды доходила почти до сада; тут Бугуруслан мог назваться верховьем Кивацкого пруда, а всем охотникам известно, что для ужения рыбы это очень выгодно. Впервые познакомился я тогда с высшим наслаждением рыбака, с ужением крупной рыбы: до тех пор я лавливал только плотву, окуней и пескарей; конечно, две первые породы достигают также значительной величины, но мне как-то очень крупная не попадалась, а если и попадалась, то я не мог ее вытащить, потому что удил на

тонкие лесы и маленькие крючки. Евсеич свил мне две лесы, волос в двадцать каждую, навязал толстые крючки, привязал лесы к крепким удилицам и, взяв еще свою удочку, повел меня в сад на свое секретное место, которое он называл «золотым местечком». Насадив на крючок кусок умятого черного хлеба величиною с большой русский орех, он закинул мою удочку на дно под самый куст, а свою пустил у берега возле травки и камыша. Я сидел смирно и не смел смигнуть с моего наплавка, который тихо похаживал взад и вперед оттого, что тут вода завертывала под берег. В непродолжительном времени Евсеич вдруг вскочил и, закричав: «Вот он, батюшка!» — начал возиться с большой рыбой, обеими руками держа удилице. Евсеич не имел понятия об уменье удить и потащил изо всей силы, как говорится, через плечо на вынос; рыба, вероятно, запуталась за траву или за камыш, удилице было просто палка, и леса порвалась: так мы и не видали, какая это была рыба. Евсеич пришел в большой азарт; я также почти дрожал, глядя на него. Евсеич клялся и уверял, что это была такая большая

рыбища какой он сроду не уживал; но, вероятно, обыкновенный язь или головль запутался за траву и оттого показался ему так тяжел. Развив другую мою удочку, дядька мой закинул ее поскорее на то же самое место, где взяла у него рыба, и, сказав: «Видно, я маленько погорячился, теперь стану тащить потише», — сел на траву дожидаться новой добычи, но напрасно. Тогда пришла моя очередь, и судьба захотела меня потешить: наплавок мой стал понемногу привставать и опять ложиться, потом встал окончательно и исчез под воду; я подсек, и огромная рыба начала тяжело ходить, как будто упираясь в воде. Евсеич поспешил мне на помощь и ухватился за мое удилище; но я, помня его недавние слова, беспрестанно повторял, чтоб он тащил потише; наконец, благодаря новой крепкой лесе и не очень гнуткому удилищу, которого я не выпускал из рук,[11] выволокли мы на берег кое-как общими силами самого крупного язя, на которого Евсеич упал всем телом, восклицая: «Вот он, соколик! теперь не уйдет!» Я дрожал от радости, как в лихорадке, что, впрочем, и потом случалось со мной, когда я вы-

уживал большую рыбу; долго я не мог успокоиться, беспрестанно бегал посмотреть на язя, который лежал в траве на берегу, в безопасном месте. Удочку закинули опять, но рыба больше не брала. Через полчаса мы пошли домой, потому что я был отпущен на короткое время. Это первое удачное начало сделало меня окончательно горячим рыбаком. Язя надели на прутик, и я принес его к отцу, который и сам иногда любил удить. Тогда еще не было у нас обыкновения взвешивать крупную рыбу, но мне кажется, что я и после никогда не выживал язя такой величины и что в нем было по крайней мере семь фунтов.

Отец брал меня иногда на охоту с ружьем, на которую, впрочем, он ездил очень редко. Я сильно ей сочувствовал, и такие поездки были для меня праздниками, хотя участие мое в охоте ограничивалось тогда исправлением должности легавой собаки, то есть я бегал за убитой птицей и подавал ее отцу. Ружья мне и в руки не давали. Года через три, однако, во время летней вакации, о чем я расскажу в своем месте, первый ружейный выстрел решил мою судьбу: все другие охоты, даже удоч-

ка, потеряли в глазах моих свою прелесть, и я сделался страстным ружейным охотником на всю жизнь.

Когда болезнь моя прошла совсем, август месяц был уже в исходе; язи и головли давно перестали брать; но я успел выудить их несколько штук замечательной величины и, разумеется, упустил вдвое более. Зато уженье плотвы и особенно окуней находилось еще в сильном разгаре. Впрочем, я тогда очень развлекался ястребами; прошлогодними еще в июле начали травить перепелок; молодых гнездарей также давно уже выносили, и травля шла очень удачно. Старые ястреба были у Никанора Танайченка и у Ивана Мазана, а молодые — у Федора и у моего дядьки Евсеича. У меня также был свой собственный маленький ястреб, чеглик, выношенный очень хорошо, которым я травил воробьев и разных птичек. Я нередко ездил в поле на длинных дрогах, с кем-нибудь из названных мною охотников, всего чаще с Евсеичем, и очень любил смотреть, как травили жирных осенних перепелок и дергунов. Так прошло лето и начало осени, полные разных деревенских

удовольствий, в число которых также можно поставить поездки за ягодами, а потом за грибами.[12]

Мать моя не любила деревенских прогулок. Нам редко удавалось уговорить ее поехать со мной и отцом в поле или лес. Помню, однако, что чудесная полевая клубника, родившаяся тогда в великом изобилии, выманивала иногда мою мать на залежи ближнего поля, потому что она очень любила эту ягоду и считала ее целебной для своего здоровья. Езжали также изредка на живописные горные родники пить чай со всей семьей под тенистыми березами; но брать грибы казалось матери моей нестерпимо скучным; отец же мой и тетка, напротив, весьма любили *ездить по грибки*, и я разделял их любовь. Всего было больнее то, что моя мать не любила также нашего милого Аксакова. Она находила местоположение его низменным и сырым, что отчасти было справедливо, запах от пруда и плотины отвратительным, ключевые воды известковыми и жесткими, и все вместе положительно вредным для ее здоровья; много

было правды в этом, но много предубеждения и преувеличения. Надобно вспомнить, что мать моя родилась и выросла в городе, и всякая деревня казалась бы ей скучною. С огорчением слушали мы с отцом ее частые, красноречивые нападения на Аксаково, и хотя не смели защищать его, но мысленно не соглашались. Мать моя, живя в деревне, деревенской жизни не вела. Она занималась детьми, чтением книг и деятельною перепискою с прежними знакомыми, по большей части замечательными людьми, которые, быв только временными жителями или посетителями Уфы, навсегда сохранили к моей матери чувства почтительной дружбы. Она любила также читать медицинские книги: «Домашний лечебник» Бухана был ее авторитетом. К медицинским книгам она получила привычку, находясь несколько лет при постели своего больного отца; она имела домашнюю аптеку и лечила сама больных не только своих, но и чужих, а потому больных немало съезжалось из окружных деревень; отец мой в этом добром деле был ее деятельным помощником. Домашним хозяйством она почти не за-

нималась.

Наступила осень, одно удовольствие исчезло вслед за другим; дни стали коротки и сумрачны; дожди, холод загнали всех в комнаты; больше стал я проводить время с матерью, больше стал учиться, то есть писать и читать вслух. Впрочем, в долгие вечера читал отец и даже сама мать — читала же она необыкновенно хорошо. Хотя отец мой не был приучен к чтению смолоду в своем семействе (у дедушки и бабушки водились только календари да какие-то печатные брошюры «о Гарлемских каплях» и «Эликсире долгой жизни»), но у него была природная склонность к чтению, чему доказательством служит огромное собрание песен и разных тогдашних стишков, переписанных с печатного его собственной рукою, сохраняющееся у меня и теперь. Моя мать успела развить эту склонность, и потому чтения по вечерам производились ежедневно с общим интересом. Я с живейшим удовольствием вспоминаю эти вечера, при которых всегда присутствовала и тетушка Евгенья Степановна; литературное удовольствие подкреплялось кедровыми и ка-

ленными русскими орехами, которые были очень вредны для моей матери, но которые она очень любила: являлся на сцену медный ларец с лакомством и приносились щипчики и пестики для раздавливанья и для разбиванья орехов.[13]

Как скоро чтение возбуждало мое любопытство, то это надбавочное удовольствие становилось мне очень неприятно, потому что развлекало и мешало слушать. — Когда моя мать чувствовала себя лучше обыкновенного и находилась в приятном расположении духа, то бывала увлекательно весела, много смеялась и других заставляла смеяться. Особенно роман «Франчичико Петрочио» и «Приключения Ильи Бенделя», как глупым содержанием, так и нелепым, безграмотным переводом на русский язык, возбуждали сильный смех, который, будучи подстрекаемый живыми и остроумными выходками моей матери, до того овладевал слушателями, что все буквально валялись от хохота — и чтение надолго прерывалось; но попадались иногда книги, возбуждавшие живое сочувствие, любопыт-

ство и даже слезы в своих слушателях.

Наступление зимы с ее первыми порошами и легкими морозами на некоторое время опять дало мне возможность предаваться моим охотам. По порошам сходили зайцев, русаков и беляков. Отец брал меня с собою, и мы, в сопровождении толпы всякого народа, обметывали тенетами лежащего на логове зайца почти со всех сторон; с противоположного края с криком и воплями бросалась вся толпа, испуганный заяц вскакивал и попадал в расставленные тенета, Я тоже бегал, шумел, кричал и горячился, разумеется, больше всех. Я очень любил эту забаву и любил толковать о ней с моим отцом. Когда мать моя бывала чем-нибудь занята и я мешал ей своими вопросами и докуками, или когда она бывала нездорова, то обыкновенно посылала меня к отцу, прибавляя: «Поговори с ним об зайчихах», — и у нас с отцом начинались бесконечные разговоры. — Кроме охоты за зайцами, у меня была большая охота ставить поставушки на маленьких зверьков: хорьков, горностаев и ласок. Снятые шкурки пойманных зверьков, гладкие и красивые, висели, как трофеи,

у моей кровати. Но скоро глубокие снега начали засыпать сугробами землю, забушевали бураны, и все мои охоты решительно прекратились. Страшное и печальное зрелище зимний буран не только в степи, но и в теплом жилье! Занесет окна, надует снегу даже в сени, заметет все дорожки от дома в людские избы, так что надобно отрывать их лопатами; в десяти саженьях не видать строения, в десяти шагах не видать человека! Наконец, навалит такие снежные громады, что кажется, никогда они не растают, — и уныние невольно овладевает душой! В столицах не могут иметь понятия об этом, но деревенские жители меня понимают и сочувствуют мне. — Я окончательно заключился в стенах дома и никак не мог упросить мою мать, чтоб меня отпускали с отцом, который ездил иногда на *язы* (около Москвы называют их *завищами*), то есть на такие места, где река на перекатах, к одной стороне, более глубокой, загорживалась плетнем или сплошными кольями, в середине которых вставлялись плетеные *морды* (нерота, верши, по-московски). Около святок и даже ранее начинали попадать в них нали-

мы, иногда очень крупные. Привезут, бывало, их, окоченевших от сильного мороза, вывалят в большое корыто с водой, и мраморные, темно-зеленые, пузатые налимы оттают понемногу, начнут плескаться, пошевеливая мягкими своими хвостами, опущенными мягкими перьями. Долго не отходил я от корыта, любуясь их движениями и отскакивая всякий раз, когда летели водяные брызги от их плесили хвостов. У отца моего много сидело налимов в больших плетеных сажалках — и вкусная налимья уха и еще вкуснейшие пироги с налимьими печенками почти всякий день бывали у нас на столе, покуда всем так не наскучивали, что никто не хотел их есть. Тогда начинали налимов готовить изредка и окончательно уже истребляли в продолжение великого поста.

По той же самой причине, что моя мать была горожанка, как я уже сказал, и также потому, что она провела в угнетении и печали свое детство и раннюю молодость и потом получила, так сказать, некоторое внешнее прикосновение цивилизации от чтения книг и от знакомства с *тогдашними* умными и об-

разованными людьми, прикосновение, часто возбуждающее какую-то гордость и неуважение к простонародному быту, — по всем этим причинам вместе, моя мать не понимала и не любила ни хороводов, ни свадебных и подблюдных песен, ни святочных игрищ, даже не знала их хорошенько. С большим трудом уступала она иногда просьбам тетки позволить мне посмотреть на них; тетка же, как деревенская девушка, все это очень любила; она устраивала иногда святочные игры и песни у себя в комнате, и сладкие, чарующие звуки народных родных напевов, долетая до меня из третьей комнаты, волновали мое сердце и погружали меня в какое-то непонятное раздумье. Мне было очень досадно, что не позволяли не только самому участвовать, но даже присутствовать на этих играх и, вследствие такого строгого запрещения, меня соблазнили, наконец, обманывать свою умную и так горячо любимую мать. Разумеется, я сначала просился и приставал с вопросами к моей матери: для чего она не пускает меня на игрища? Мать отвечала мне решительно и строго: «что там бывает много глупого, гадкого и

неприличного, чего мне ни слышать, ни видеть не должно, потому что я еще дитя, не умеющее различать хорошего от дурного». А как я ничего дурного не видел или, видя, не понимал, в чем оно состоит, то повиновался неохотно, без внутреннего убеждения, даже с неудовольствием. Тетка же моя с своими сеньными девушками говорили совсем другое; они утверждали, «что у матери моей такой уже нрав, что она всем недовольна и что все деревенское ей не нравится, что оттого она нездорова, что ей самой невесело, так она хочет, чтоб и другие не веселились». Такие слова вкрадчиво западали в мой детский ум, и следствием того было, что один раз тетка уговорила меня посмотреть игрище тихонько; и вот каким образом это сделалось: во все время святок мать чувствовала себя или не совсем здоровою, или не совсем в хорошем расположении духа; общего чтения не было, но отец читал моей матери какую-нибудь скучную или известную ей книгу, только для того, чтоб усыпить ее, и она после чая, всегда подаваемого в шесть часов вечера, спала часа по два и более. Я в это время уходил к тетке. В

один из таких удобных часов она уговорила меня посмотреть игрища и, завернув с головой в шубу и отдав на руки здоровенной своей девке Матрене, отправилась со мной в столярную избу, где ожидала нас, переряженная в медведей, индеек, журавлей, стариков и старух, вся девичья и вся молодая дворня. Несмотря на сальные вонючие огарки, даже дымную лучину, плохо освещавшую просторную избу, несмотря на удушливый мефитический воздух, сколько было истинной веселости на этих деревенских игрищах! Чудные голоса святочных песен, уцелевшие звуки глубокой древности, отголоски неведомого мира, еще хранили в себе живую обаятельную силу и властвовали над сердцами неизмеримо далекого потомства! Каким-то хмелем веселья, опьянением радости проникнуты были все. Взрывы звонкого дружного смеха часто покрывали и песни и речи. Это были не актеры и актрисы, представляющие кого-то для удовольствия других, — себя выражали одушевленные песенницы и плясуньи, себя тешили они от избытка сердца, и каждый зритель был увлеченное действующее лицо. Все пело,

плясало, говорило, хохотало — и в самом разгаре, в чаду шумного общего веселья, те же сильные руки завертывали меня в шубу и стремительно уносили из волшебного сказочного мира... Долго я не засыпал в эти ночи, и долго странные образы плясали и пели вокруг меня и не расставались со мною даже в сновидениях.

[Я помню одну драматическую святочную игру, с особенною песнью и пляскою, которая, как я слышу теперь, уже вышла из памяти народной в той губернии, где я видал ее: посередине избы, на скамье или чурбане, сидит старик (разумеется, кто-нибудь переряженный), молодая его жена в кокошнике и фате, ходя вокруг и приплясывая, поет жалобу на дряхлость мужа, хор ей подтягивает. Пропев куплет, кажется из восьми стихов, из которых я помню два начальные во всех куплетах:

*Ох ты горе мое, гореванье,
Ты тяжелое мое, вздыханье... —*

жена подходит к мужу и посылает его пахать яровую пашню. Старик кашляет, стонет

и дребезжащим голосом отвечает: «Моченьки нет». Зрители хохочут. Молодая женщина опять поет вместе с хором новый куплет, ходя и приплясывая кругом старика. Таким образом перебираются все полевые работы, и на все приглашения сеять, пахать, косить, жать и проч. старик отвечает словами: «Моченьки нет», разнообразя отказ прибаутками и оханьем. Наконец, жена поет последний куплет, в котором говорится, что все добрые люди убралась с полей и принялись варить пиво; потом подходит к мужу и зовет его к соседу «бражки испить». Старик проворно вскакивает, бодро отвечает: «Пойдем, матушка, пойдем» — и бежит стариковской рысью, утаскивая за руку молодую жену. Громкий веселый хохот зрителей заключает эту игру.]

В первый раз я был увлечен в этот обман внезапно, почти насильно, и по возвращении домой долго не смел смотреть прямо в глаза моей матери; но очаровательное зрелище так меня пленило, что в другой раз я охотно согласился, а потом и сам стал приставать к моей тетке и проситься на игрища.

Наконец, переломилась жестокая зима и унялись трескучие морозы. У нас не было тогда термометров, и я не могу сказать, до скольких градусов достигала стужа, но помню, что птица мерзла и что мне приносили воробьев и галок, которые на лету падали мертвыми и мгновенно коченели; некоторым теплота возвращала жизнь. Вообще я должен заметить, что зимы во время моего детства и ранней молодости были гораздо холоднее нынешних, и это не стариковский предрассудок; в бытность мою в Казани, до начала 1807 года, два раза замерзала ртуть, и мы ковали ее, как разогретое железо. Теперь уже в Казани это сделалось преданием старины.

Начало пригревать солнышко, начала лосниться дорога, пришла масленица, и началось катанье с гор. В общественных катаниях, к сожалению моему, мать также не позволяла мне участвовать, и только катаясь с сестрицей, а иногда и с маленьким братцем, проезжая мимо, с завистью посматривал я на толпу деревенских мальчиков и девочек, которые, раскрасневшись от движения и холода, смело летели с высокой горы, прямо от

гумна, на маленьких салазках, коньках и ледянках: ледянки были не что иное, как старые решета или круглые лубочные лукошки, подмороженные снизу так же, как и коньки. Шумный говор и смех раздавался в бодрой, веселой толпе, часто одетой в фантастические костюмы, особенно когда летели вверх ногами наездники с высоких коньков или, быстро вертясь, опрокидывалась ледянка с какой-нибудь девчонкой, которая начинала визжать задолго до крушения своего экипажа. Как мне хотелось туда — в этот шум, говор и смех... и как после этого зрелища казалось мне скучным уединенное катанье с ледяной горки, устроенной в саду перед окнами гостиной, и только одно меня утешало, что моя милая сестрица каталась вместе со мной.

С наступлением великого поста оканчивались все зимние, очень немногие, удовольствия. Нельзя сказать, чтоб великий пост проходил у нас в посте и молитве. Мать моя постов не держала по нездоровью; я, конечно, не постничал; отец мой хотя не ел скоромного в успенский и великий пост, но при изобильном запасе уральской красной рыбы,

замороженных илецких[14] стерлядей, свежей икры и живых налимов — его постный стол был гораздо лакомее скоромного. Церкви у нас еще не было, и ближайшая находилась в девяти верстах, в селе Мордовский Бугурус-лан. Священник был как-то не расположен к нам, и мы езжали туда только по самым большим праздникам. Вообще должно сказать, что у нас дом был не то что не богомольный, но мало привычный к слушанью церковной службы, что почти всегда бывает при отдаленности церкви. Итак, великий пост провел я в обыкновенных, несколько усиленных, учебных занятиях. Ученица моя уже не печалила, а радовала меня своими успехами. Я играл с ней в куклы, строил городки из чурочек, а иногда читывал и растолковывал ей детские сказочки.

Мать моя постоянно была чем-то озабочена и даже иногда расстроена; она несколько менее занималась мною, и я, более преданный спокойному размышлению, потрясенный в моей детской беспечности жизнью в гимназии, не забывший новых впечатлений и по возвращении к деревенской жизни, — я

уже не находил в себе прежней беззаботности, прежнего увлечения в своих охотах и с большим вниманием стал вглядываться во все меня окружающее, стал понимать кое-что, до тех пор не замечаемое мною... и не так светлы и радостны показались мне некоторые предметы. Чувство неиспытанной мною до тех пор особенного рода грусти стало при-мешиваться ко всем моим любимым занятиям, ко всем забавам... Я не буду распространяться об этом печальном обстоятельстве, но я должен упомянуть о нем, потому что иначе было бы нельзя понять, отчего через несколько месяцев жизнь в Аксакове уже не казалась мне прежним светлым раем, а вторичное поступление в гимназию, особенно учеником своекоштным, — не представлялось страшным событием.

Зима стояла долгая и упорная. Весна медленно вступала в права свои, и только в исходе апреля теплота в воздухе, дождь и ветер дружно напали на страшные громады снегов и в одну неделю разрушили их. Во время пасхи стояла совершенная распутица, и мы не ездили даже к заутрене великого праздника.

Всю светлую неделю провел я невесело: мать была нездорова и печальна, отец молчалив; он постоянно сидел за бумагами по тяжebному делу с Богдановыми о каком-то наследстве, — это дело он выиграл впоследствии. Отец всякий день ходил на мельницу наблюдать прибыль воды. Однажды, воротясь неожиданно скоро домой, он сказал мне: «Просись, Сережа, у матери: сейчас будем спускать воду». Я побежал проситься, и в этот раз счастливее прежних разов: мать отпустила меня, приняв некоторые предосторожности, чтобы я не промочил ног и не простудился. На длинных крестьянских дрогах доехали мы до мельницы; на плотине дожидались нас крестьяне с разными орудиями. Русский народ любит смотреть на движение воды, и все население Аксакова сбежалось поглядеть, как будут спускать пруд. Заводских вешняков с деревянными запорами у нас еще не заводилось, и отверстие в плотине, то есть вешняк, для спуска полой воды ежегодно заваливали наглухо. Пруд надулся и весь посинел, лед поднялся, истрескался и отстал от берегов, материк давно прошел, и вода едва помещалась

в каузе. Топорами, пешнями и железными лопатами разрубили мерзлую плотину по обоим краям прошлогоднего вешняка, и едва свортели верхний слой в аршин глубиною, как вода хлынула и, не нуждаясь более в человеческой помощи, так успешно принялась за дело, что в полчаса расчистила себе дорогу до самого материка земли. Яростно устремились мутные волны, и в одну минуту образовалась сильная река, которая не уместилась в новенькой канавке и затопила окружные места. Радостными восклицаниями приветствовал народ вырвавшуюся на волю из зимнего плена любимую им стихию; особенно кричали и взвизгивали женщины, — и все это, мешаясь с шумом круто падающей воды, с треском оседающего и ломающегося льда, представляло полную жизни картину... и если б не прислали из дому сказать, что давно пришла пора обедать, то, кажется, мы с отцом простояли бы тут до вечера.

На другой день поутру мы опять поехали на плотину и нашли уже там другое, также шумное и веселое зрелище. Первые бурные порывы воды несколько устремились, пруд

значительно сбежал, мелкие глыбы льда разбились о сваи и пронеслись, а большие сели на дно, по обмелевшим местам. По сухому почти месту, где текла теперь целая река из-под вешняка, были заранее вколочены толстые невысокие колья; к этим кольям, входя по пояс в воду, привязывали или надевали на них петлями морды и хвостуши; рыба, которая скатывалась вниз, увлекаемая стремлением воды, а еще более рыба, поднимавшаяся вверх по реке до самого вешняка, сбиваемая назад силою падающих волн, — попадала в морды и хвостуши. То и дело мокрые крестьяне, дрожа от холода, но в то же время перекидываясь шутками и громкими восклицаниями, вытаскивали на берег свою добычу, а бабы, старики, старухи, мальчишки и девчонки таскали ее домой в лукошках и решетях, а иногда и просто в подолах своих рубашек. Выбрав несколько крупных рыб, мы отправились домой. Мать моя была недовольна, что мы так замешкались, и не скоро получил я позволение побывать на мельнице.

В короткое время исчезли все признаки зимы, оделись зеленью кусты и деревья, вырос-

ла молодая трава, и весна явилась во всей своей красоте. По-прежнему заселился наш сад всякими певчими птичками, зорьками и малиновками, особенно любившими старые смородинные и барбарисовые кусты, опять запели соловьи, и опять стали передразнивать их варакушки. Проведя прошлогоднюю весну в тюремном заключении, в тесной больничной комнате, казалось бы, я должен был с особенным чувством наслаждения встретить весну в деревне; но у меня постоянно ныло сердце, и хотя я не понимал хорошенько, отчего это происходило, но тем не менее все мои удовольствия, которым, по-видимому, я по-прежнему предавался, были отравлены грустным чувством.

Еще зимой отец мой задумал сделать на плотине так называемый заводский вешняк с запорами и построить хорошую мельницу. Он нанял для этого какого-то *верхового* мельника, Краснова, великого краснобая и плута, что все оказалось впоследствии. Весь великий пост заготовляли наши крестьяне лесной материал: крупные и мелкие бревна, слезы, переводины, лежни и сваи, которых поче-

му-то понадобилось великое множество, и сейчас, по слитии полой воды, принялись разрывать плотину и рубить новый вешняк на другом месте; в то же время наемные плотники начали бить сваи и потом рубить огромный мельничный амбар, также на другом месте, в котором должны были помещаться шесть мукомольных поставов; толчея находилась в особом пристрое. Работы продолжались почти во все лето. Отец мой слепо поверился Краснову, и хотя старый мельник Болтуненок и некоторые крестьяне, разумеющие несколько мельничную постройку, исподтишка ухмылялись и покачивали головами, но на вопросы моего отца: «Каков Краснов-то, как разумеет свое дело? нарисовал весь план на бумаге и по одному глазомеру бьет сваи, и все приходится по своим местам!» — всегда отвечали с простодушным лукавством русских людей: «Боек, батюшка, боек. Что и говорить, мастер своего дела! Все раскинет в уме, и все приходится, как быть надо. Только не знай, как-то будет мельница молоть: вода-то пойдет по канаве, чай, тихо, не то что прямо из материка, да как бы зимой

промерзать не стала?» Но Краснов улыбался на мужичьи замечанья и с такой самоуверенностью опровергал их, что отцу моему и в голову не входило ни малейшего сомнения в успехе. Я также слушал с благоговением красноречивого Краснова. Между тем постройка требовала, чтобы пруд был спущен, и в пруду открылось такое уженье, какого не видывали до тех пор, да и после не видали. Вся прудовая рыба скатилась в трубу, то есть в материк реки. Рыбы было столько, как в кастрюле с доброй ухой. Началось баснословное ужение. Я с Евсеичем не сходил с пруда и нигде уже больше не удил; даже отец мой, удивший очень редко за недосугом, мог теперь удить с утра до вечера, потому, что большую часть дня должен был проводить на мельнице, наблюдая над разными работами: он имел полную возможность удить, не выпуская из глаз всех построек и осматривая их от времени до времени. Головли, язи, лини, окуни, щуки и крупная плотва (фунта по три и более) брали беспрестанно и во всякое время дня. Величина рыбы зависела от величины насадки: кто насаживал огромные куски, у того брала

огромная рыба. Я помню, что мой отец, который особенно любил удить окуней и щук, навязывал по два крючка на одну лесу, насаживал крючки мелкой рыбешкой и таскал по два окуня вдруг, и даже один раз окуня я щуку. Впрочем, щук ловили большею частью на жерлицы, насаживая порядочными окунями и плотицами, и нередко попадались полупудовые щуки. Само собою разумеется, что несмотря на толстые лесы и крючки, без умения удить и без помощи сачка самая крупная рыба часто срывалась, ломала удилица и крючки и рвала лесы. Евсеич мой, который и в старости часто смешил меня своей горячностью на ужение, более всех подвергался несчастным потерям, а по его милости и я часто терял крупную рыбу, потому что без его помощи не мог ее вытащить, а помощь его почти всегда была вредна. Самый сильный лов продолжался с весны до половины июля, а потом крупная рыба перестала брать; я разумею язей, головлей и линей; остальная же вся брала превосходно, но, вероятно, и они бы брали, если б тогда была известна насадка целых линючих раков.

В течение всего этого года моя мать постоянно переписывалась каждый месяц с Василием Петровичем Упадышевским. В этот год много последовало перемен в казанской гимназии: директор Пекен и главный надзиратель Камашев вышли в отставку; должность директора исправлял старший учитель русской истории Илья Федорыч Яковкин, а должность главного надзирателя — Упадышевский. Переговоря с новым директором и инспектором, Василий Петрович уведомил, что я могу теперь, если моим родителям угодно, не вступать в казенные гимназисты, а поступить своекоштным и жить у кого-нибудь из учителей; что есть двое отличных молодых людей: Иван Ипатыч Запольский и Григорий Иваныч Карташевский, оба из Московского университета, которые живут вместе, нанимают большой дом, берут к себе пансионеров, содержат их отлично хорошо и плату полагают умеренную. Отец и мать очень обрадовались таким известиям, особенно тому, что провалился Камашев, и хотя платить за меня по триста рублей в год и издерживать рублей по двести на платье, книги и дядьку было для

них очень тяжело, но они решились для моего воспитания войти в долги, которых и без того имели две тысячи рублей ассигнациями (тогда эта сумма казалась долгами!), и только в ожидании будущих благ от Надежды Ивановны Куроедовой отважились на новый заем. Курс ученья начинался в гимназии с 15-го, а прием с 1 августа. — Итак, было положено в исходе июля отправиться в Казань. Такое решение принял я почти спокойно, потому что внутреннее состояние моего духа становилось тяжелее и больнее. Но когда сборы были кончены, назначен день отъезда, — мне стало так жаль Аксакова, что вдруг все в нем получило в глазах моих прежнюю цену и прелесть, даже, может быть, большую. Мне казалось, что я никогда его не увижу, и потому я прощался с каждым строением, с каждым местом, с каждым деревом и кустиком, и прощался со слезами. Я раздарил все мое богатство: голубей отдал я повару Степану и его сыну, кошку подарил Сергевне, жене нашего слепого поверенного Пантелея Григорьича, необыкновенного дельца и знатока в законах; мои удочки и поставушки роздал дворо-

вым мальчишкам, а книжки, сухие цветы, картинки и проч. отдал моей сестрице, с которой в этот год мы сделались такими друзьями, какими только могут быть девятилетняя сестра с одиннадцатилетним братом. Разлука с ней была для меня очень прискорбна, и я упросил мать взять мою сестрицу с собой. Мать сначала противилась моим просьбам, но, наконец, уступила.

Должно упомянуть, что за неделю до нашего отъезда была пущена в ход новая мельница. Увы, оправдались сомнения Болтуненка и других: вода точно шла тише по обводному каналу и не поднимала шести поставов; даже на два молола несравненно тише прежнего. Отец мой, разочарованный в искусстве Краснова, прогнал его и поручил хоть кое-как поправить дело старому мельнику.

Наконец 26 июля та же просторная карета, запряженная тем же шестериком, с тем же кучером и форейторм — стояла у крыльца; такая же толпа дворовых и крестьян собралась провожать господ; отец с матерью, я с сестрой и Параша поместились в экипаже, Евсеич сел на козлы, Федор на запятки, и карета

тихо тронулась от крыльца, на котором стояла тетушка Евгенья Степановна, нянька с моим братом и кормилица на руках с меньшей сестрой моей. Толпа крестьян и дворовых провожала нас до околицы, осыпая прощаньями, благословеньями и добрыми желаньями. Дорога шла до Крутца вдоль пруда, по которому уже плавали черные лысухи и над которым уже вилась стая белых и пестрых мартышек или чаек. Как я завидовал каждому деревенскому мальчику, которому никуда не надо было ехать, ни с кем и ни с чем не разлучаться, который оставался дома и мог теперь с своей удочкой сесть где-нибудь на плотине и под густой тенью ольхи удить беззаботно окуней и плотву! Он оставался полным спокойным хозяином широкого пруда, на этот год не заросшего камышами и травами, потому что был с весны долго спущен. Фыркали и горячились застоявшиеся кони, но сильные привычные руки кучера осаживали их и долго заставляли идти шагом. В карете все казались печальны и молчали. Я высунулся из окна и глядел на милое Аксаково до тех пор, пока оно не скрылось из глаз, и тихие слезы ка-

ТИЛИСЬ ПО МОИМ ЩЕКАМ.

ГИМНАЗИЯ

Период второй

Приехав в Казань (1801 года), мы не остановились уже у капитанши Аристовой, а наняли себе квартиру получше; не помню, на какой улице, но помню, что мы занимали целый отдельный домик, принадлежавший, кажется, г. Чортову. Василий Петрович Упадышевский не замедлил к нам явиться. Все его встретили, как близкого родного, благодетеля и друга. Он рассказал нам, что Яковкин до сих пор только исправляет должность директора гимназии и что ходят по городу слухи, будто директором будет богатый тамошний помещик Лихачев, и что теперь самое удобное время поместить меня в гимназию своекоштным ученикам, потому что Яковкин и весь совет на это согласен, и что, может быть, будущий директор посмотрит на это дело иначе и заупрямится. Упадышевский очень хвалил двух старших учителей, поступивших уже давно в гимназию из Московского университета: Ивана Ипатыча Запольского, преподававшего фи-

зику, и Григория Иваныча Карташевского, преподававшего чистую математику. Он превозносил их ум, ученость и скромность поведения. Они были дружны между собою, жили вместе в прекрасном каменном доме и держали у себя семерых воспитанников, своекоштных гимназистов: Рычкова, двух Скуридиных, Ах—ва и троих Манасеиных; содержали и кормили их очень хорошо и прилежно наблюдали за их ученьем в классах. Они не принимали более воспитанников, но Упадышевский рассказал им мою историю и столько наговорил доброго обо мне и моем семействе, что молодые люди, убежденные его просьбами, согласились сделать исключение для моей матери и принять меня в число своих воспитанников. Отец доехал со мной к Яковкину и, получив его согласие определить меня в своекоштные гимназисты, отправился, также вместе со мной, к Ивану Ипатычу Запольскому и Григорию Иванычу Карташевскому. Везде приняли нас очень благосклонно, но Григорий Иваныч объявил, что я могу поступить собственно к его товарищу Запольскому, потому что они воспитанников разделили; что

трое старших находятся непосредственно под его наблюдением; что его воспитанники, через год кончив курс гимназического ученья, должны оставить гимназию для поступления в службу, и что он, Григорий Иванович, тогда будет жить особо и воспитанников иметь не хочет. Иван Ипатыч с удовольствием согласился меня принять. Для моего отца было все равно, кто бы ни взял меня; он только убедительно просил обоих молодых людей познакомиться с моей матерью. На другой день они приехали к нам. С первого взгляда Григорий Иванович чрезвычайно понравился моей матери, и она очень огорчилась тем, что я буду жить не у него. Отцу же моему и мне гораздо более нравился Иван Ипатыч, который показался нам приветливее, добрее и словоохотнее своего серьезного товарища. На все ласковые убеждения моей матери, что разлучаться друзьям не надобно, а лучше жить вместе и помогать друг другу в исполнении таких святы́х обязанностей, — Григорий Иванович очень твердо отвечал, что считает эту обязанность слишком важною и тяжелою, что ответственность за воспитание молодых людей если не

перед родителями их, то перед самим собою ему не под силу и мешает заниматься наукой, в которой он сам еще ученик. Ответ был высказан так решительно, что возражать было нечего, да и неловко. Молодые люди уехали, и моя мать, по живости своего нрава, очень огорчилась. Будучи всегда слишком страстною в своих увлечениях, она превозносила до небес достоинства Григория Иваныча и находила много недостатков в его товарище. Последствия доказали, что горячее увлечение моей матери не было ошибочно. Иван Ипатыч был очень хороший человек в обыкновенном смысле этого слова; но Григорий Иваныч принадлежал к небольшому числу тех людей, нравственная высота которых встречается очень редко и которых вся жизнь — есть строгое проявление этой высоты... Я же радовался от всей души, что попаду к доброму Ивану Ипатычу и стану жить не с большими воспитанниками, которые помещались особо, а с своими ровесниками, такими же веселыми и добрыми мальчиками, как я. Все дела наши, благодаря участию Упадышевского, устроились без всякого затруднения, и через

месяц отец, мать и сестрица уехали в Аксаково; но в продолжение этого месяца Григорий Иваныч, умевший оценить мою мать, часто бывал у нас, хотя считался большим домоседом, и прочная, на взаимном уважении основанная дружба, доказанная впоследствии многими важными опытами, образовалась между ними.

Вторичная разлука наша с матерью далеко не сопровождалась такою мучительною горестью, как первая. Особенно в себе я заметил эту разницу, и, несмотря на мой детский возраст, она поразила меня и заставила грустно задуматься. Но скоро новый образ жизни поглотил все мое внимание. Меня поместили в одной комнате с тремя братьями Манасеиными, с которыми я сейчас познакомился хорошо. Ах—в же занимал маленькую особую комнату, возле нашей. Он был очень богат и, кажется, единственный сын у своей матери, вдовы. Несмотря на богатство, которое видно было в его платье, постели и во всем, он жил очень скупно; в комнате у него стоял огромный сундук, окованный железом, ключ от которого он носил в кармане. Товарищи мои ду-

мали, что в сундуке хранятся драгоценные вещи и разные сокровища; сундук возбуждал общее любопытство.

Наконец, я опять увидел некогда страшную и противную мне гимназию, и увидел ее без страха и без неприятного чувства. Я очень этому обрадовался. Я поступил опять в те же нижние классы, из которых большая часть моих прежних товарищей перешла в средние и на место их определились новые ученики, которые были приготовлены хуже меня; ученики же, не перешедшие в следующий класс, были лентяи или без способностей, и потому я в самое короткое время сделался первым во всех классах, кроме катехизиса и краткой священной истории. Священник постоянно сохранял ко мне какое-то неблагоприятное отношение, несмотря на то, что я знал свои уроки всегда очень твердо. Замечательно, что впоследствии, когда Упадышевский спрашивал его, отчего Аксаков, самый прилежный ученик везде, не находится у него в числе лучших учеников и что, верно, он нехорошо знает свои уроки, священник отвечал: «Нет, уроки он знает твердо; но он не охотник до кате-

хизиса и священной истории».

Прошло несколько месяцев, рассеялись последние остатки грусти по доме родительском, по привольному деревенскому житью; я постепенно привык к своей школьной жизни и завел себе несколько приятелей в гимназии и полюбил ее. Этой перемене много способствовало то, что я только приезжал в гимназию учиться, а не жил в ней. Житье у Ивана Ипатыча не так резко разнилось от моей домашней жизни, как безвыходное заключение в казенном доме гимназии посреди множества разнородных товарищей.

Ах—в, который чуждался меня и Манасейных, да и всех в гимназии, заметив мою скромность и смиренность, стал со мной заговаривать и приглашать в свою комнату, даже потчевал своими домашними лакомствами, которые он ел потихоньку от всех; наконец, сказал, что хочет показать мне свой сундук, только таким образом, чтобы никто этого не знал. Я обрадовался. Воображение мое, полное волшебных сказок, представляло мне этот сундук хранилищем драгоценных камней, слитков золота и серебра. Мы услови-

лись с Ах—м, что я приду к нему в комнату, когда все заснут. Я так и сделал в тот же самый вечер; Манасеины не заставили меня долго ждать и скоро захрапели; я пришел к Ах—ву, у которого по ночам теплилась лампадка перед большим, богато вызолоченным образом. Хозяин зажег свечу, запер дверь, взял с меня обещание никому не сказывать о том, что увижу, и бережно отпер таинственный сундук... Каково было мое удивление! Сундук оказался набит битком гравированными, рисованными и раскрашенными лубочными картинками! Между ними находились и ландшафты, и портреты, писанные масляными красками, разумеется вроде цирюльных вывесок. Я сам был охотник до картинок; но как тут я ожидал совсем другого, то не обращал на них внимания и все еще надеялся, что на дне сундука окажется настоящее сокровище; когда же были сняты последние листы и голые доски представились глазам моим, — я невольно воскликнул: «Только-то!..» и смутил ужасно Ах—ва, который думал удивить и привести меня в восхищение. Я шепотом откровенно рассказал ему, что мы

все думали об его сундуке. «Вы все дураки», — сказал с негодованием Ах—в и почти выгнал меня. Тем и кончилась наша ребячья дружба. Через несколько времени я нарушил обещание и рассказал Манасеиным, что хранится в сундуке, и мы потом не один раз, подглядывая в дверные щели, видели, как Ах—в, запершись на крючок, раскладывал свои картинки по постели, по столам, по стульям и даже по полу. Он разглядывал их, обтирал и любовался ими, как Скупой рыцарь у Пушкина своими сокровищами; почти каждый день, по большей части ночью, предавался он этому наслаждению целые часы. Мы стали подсмеиваться над Ах—м, рассказали в гимназии про его охоту к картинкам, — и резвые мальчишки не давали ему прохода, требуя, чтоб он делился с другими своим богатством и показал им, как «мыши погребают кота», или как «Еруслан Лазаревич побивает несметную бурманскую силу». Ах—в сердился, бранился и даже дрался, — ничто не помогало. Наконец, это так надоело ему, что он написал к своей матери, и она скоро совсем взяла его из гимназии. Впрочем, этому могли быть и дру-

гие причины. — Недавно я узнал, что Ах—в навсегда остался большим чудаком, но это не мешает ему иметь репутацию очень дельного хозяина.

Первые месяцы после моего поступления к Ивану Ипатычу он кое-как занимался мною и другими. Все занятие состояло в том, что он предварительно спрашивал заданные нам уроки и учил читать по-французски и по-немецки; но мало-помалу он переставал нами заниматься вовсе и стал куда-то отлучаться. Должно сказать правду: ученью нашему были полезны его отлучки, потому что в его отсутствие занимался нами Григорий Иванович, гораздо внимательнее и лучше своего товарища, и я это очень понимал. Наконец, Евсеич сказал мне за тайну, что Иван Ипатыч сватает невесту хорошего дворянского рода и с состоянием, что невеста и мать согласны, только отец не хочет выдать дочери за учителя, бедняка, да еще поповича. Это известие оказалось совершенно справедливым.

Директором гимназии точно был определен помещик Лихачев; но своекоштные ученики долго его и в глаза не знали, потому что

он посещал гимназию обыкновенно в обеденное время, а в классы и не заглядывал. — Я учился, ездил или ходил в гимназию весьма охотно. Товарищи ли мои были совсем другие мальчики, чем прежде, или я сделался другим — не знаю, только я не замечал этого, несносного прежде, приставанья или тормошенья учеников; нашлись общие интересы, родилось желание сообщаться друг с другом, и я стал ожидать с нетерпением того времени, когда надо ехать в гимназию. Притом надобно и то сказать, что я проводил там по большей части классное время, а в классах самолюбие мое постоянно было ласкаемо похвалами учителей и некоторым уважением товарищей, что, однако, не мешало мне играть и резвиться с ними во всякое свободное время и при всяком удобном случае. Домой я писал каждую неделю и каждую неделю получал самые нежные письма от матери, иногда с припискою отца. Мать уверяла меня, что не грустит, расставшись со мною, радуется тому, что я так хорошо учусь и веду себя, о чем пишет к ней Иван Ипатыч и Упадышевский; я поверил, что мать моя не грустит. Во всяком

письме она свидетельствовала почтение Ивану Ипатычу и Григорию Иванычу, с которыми от времени до времени переписывалась сама. Таким образом шли дела почти целый год, то есть до июня 1802 года; в продолжение июня происходили экзамены, окончившиеся совершенным торжеством для моего детского самолюбия; я был переведен во все средние классы. В первых числах июля, на акте, я получил книжку с золотою надписью: «За прилежание и успехи» и еще похвальный лист.

За мной давно уже приехала простая кибитка и тройка лошадей с кучером, и в день гимназического акта, после обеда, мы с Евсеичем отправились в наше любимое и дорогое Аксаково. Мы ехали по той же самой дороге, по которой два года тому назад везла меня мать, вырвав из казенных воспитанников гимназии, и останавливались даже на тех же кормежках и ночевках. Скородыханье природы проникло в мое существо и выгнало из головы моей гимназию, товарищей, учителей, книги и уроки. После временного как будто забвения или охлаждения еще горячее и уже сознательнее полюбил я красоты божьего ми-

ра... Дома вся семья встретила меня с нежною любовью, а радости матери моей — и описать нельзя! Как выросла и похорошела в один год моя любимая сестрица и как обрадовалась мне! Сколько расспросов, сколько рассказов! Между прочим, я узнал от нее, что моя мать сначала так по мне тосковала, что даже была больна, и мне сделалось как-то больно, что я грустил в разлуке с ней менее, чем прежде.

Все дни вакации, которые провел я тогда в Аксакове, слились в моей памяти в один прекрасный, радостный день! Я никак не могу рассказать, если бы и хотел, что я делал в эти счастливые дни! Знаю только, что я наслаждался от утра до вечера. Всего чаще мелькает в этом рое удовольствий удочка, купанье и ястреб. Мать заставила меня рассказать весь год моей гимназической жизни со всеми мельчайшими подробностями и в продолжение рассказа часто говорила моему отцу: «Видишь ли, Тимофей Степаныч, я не ошиблась в Григории Иваныче. Он далек от Ивана Ипатьча, как небо от земли. Вот кому желала бы я отдать на воспитание Сережу, и я буду стараться о том из всех сил». Рассказы Евсеича

еще более утвердили ее в этом намерении, важность которого я уже понимал и сам желал его исполнения. Всего более пленяли мою мать строгость и чистота нравов Григорья Иваныча. — С моей сестрицей я почти не расставался; дружба наша сделалась еще теснее и нежнее. — Быстро пролетели блаженные дни, и 10 августа, в той же кибитке, с тем же кучером и на тех же лошадях, мы с Евсеичем отправились в Казань.

По приезде моем я нашел всех учеников в сборе, но Ивана Ипатыча не было в городе. Мы узнали, что он поехал жениться в деревню к своей невесте, Настасье Петровне Елагинной, что через месяц после свадьбы они приедут в Казань, наймут особый дом и тогда уже возьмут нас к себе и что до тех пор будет заниматься нами Григорий Иваныч. Я очень этому обрадовался, а Манасеины — напротив, особенно меньшей брат Ельпидифор, славный мальчик, но великий шалун, не принявшийся еще за ученье, шалун, из которого вышел впоследствии весьма дельный человек. Очень живо помню, что я с большим нетерпением и желанием учиться вступил в средние

классы. Я знал заранее, что в них ученье гораздо труднее и что средние классы считались основанием всего гимназического курса. Существовало мнение, что тот ученик, который в них отличится, непременно будет отличным и в высших классах, тогда как, напротив, часто случалось, что первые ученики в низших классах оставались в средних навсегда посредственными.[15]

Это мнение меня пугало, и весь первый месяц мое опасение не рассеялось. Учителя были другие и нас не знали; все переведенные ученики сидели особо на двух отдельных скамейках, и сначала ими занимались мало. По трудности курса средних классов большая часть воспитанников оставалась в них по два года, отчего классы были слишком полны и для учителя не было физической возможности со всеми равно заниматься. В числе других предметов, вместе с русским языком, в среднем классе преподавалась грамматика славянского языка, составленная самим преподавателем, Николаем Мисаиловичем Ибрагимовым,[16] поступившим также из Москов-

ского университета; он же был не только учителем российской словесности, но и математики в средних классах. Этот человек имел большое значение в моем литературном направлении, и память его драгоценна для меня. Он первый ободрил меня и, так сказать, толкнул на настоящую дорогу. Ибрагимов диктовал свою славянскую грамматику для тех, кто ее еще не слушал и у кого ее не было; обыкновенно один ученик писал под диктовку на классной доске, а другие списывали продиктованное. Ибрагимов объяснял не довольно подробно и не так понятно; для слушавших грамматику вторично этого толкования было достаточно, но мало для учеников новых, а особенно для двенадцатилетних мальчиков, каким был я и многие другие. По счастью, в это время занимался мною дома Григорий Иваныч (по случаю отсутствия Ивана Ипатыча); он объяснил мне «Введение в славянскую грамматику», в котором излагался взгляд на грамматику общую; без объяснения я понял бы этот взгляд так же плохо, как и другие ученики. Имея у себя заранее полный список славянской грамматики, я про-

смотрел ее всю в воскресные дни и на темные для меня места попросил объяснения у Григория Иваныча. Это было мне впоследствии очень полезно. — Наконец, уже в исходе сентября (через шесть недель после начала учения) маленькая татарская фигурка Ибрагимова, прошед несколько раз по длинному классу с тетрадкою в руке, вместо обыкновенной диктовки вдруг приблизилась к отдельным скамьям новых учеников. Сердце у меня сильно забилося. Ибрагимов стал предлагать всем ученикам, переведенным из нижнего класса, разные вопросы из пройденных им «Введения» и двух глав грамматики — в том порядке, как сидели ученики; порядок же был следующий: сначала сидели казенные гимназисты, потом пансионеры, потом полупансионеры и, наконец, своекоштные. На вопросы Ибрагимова из грамматики кое-как еще отвечали, но из «Введения» решительно никто ничего не знал: ясное доказательство, что его не понимали. Дошла очередь до меня. Из грамматики я отвечал свободно и удовлетворительно. После каждого ответа Ибрагимов говорил: «Прекрасно». Ответы мои заинтере-

совали его, и вместо трех-четырёх он задал мне вопросов двадцать. Все ответы были равно удачны. Ибрагимов беспрестанно улыбался во всю ширину своего огромного татарского рта и, наконец, сказал: «Прекрасно, прекрасно и прекрасно! Посмотрим теперь, что скажет Введение». — Ответы мои продолжали быть вполне удовлетворительны. Он пробовал сбивать меня и не сбил, потому что я говорил, понимая предмет, а не выучив наизусть одни слова. Ибрагимов пришел в совершенное изумление и восхищение. Он осыпал меня всевозможными похвалами, вызвал из-за стола, приказал забрать все классные тетрадки и книжки, взял за руку, подвел к первому столу и, сказав: «вот ваше место», посадил меня третьим, а учеников было с лишком сорок человек. Такое торжество и во мне не снилось. Я был совершенно счастлив. Воротясь домой, я послал Евсеича попросить позволения у Григорья Иваныча прийти к нему в комнату, и, получив согласие, я рассказал с большой радостью о случившемся со мною. Григорий Иваныч внутренне был очень доволен этим происшествием и тем

чувством, с которым я его принял, но, следуя своей методе, довольно сухо мне отвечал: «Не слишком радуйтесь; не поторопился ли Ибрагимов? Теперь вы должны поддержать его хорошее мнение и учиться ещё прилежнее». Такой ответ мог бы окатить холодной водой или оттолкнуть другого, и я решительно не одобряю такого образа действий; но я уже знал Григория Ивановича. Он и прежде очень хвалил меня в письмах к моей матери, а мне и виду не подавал, что мною доволен; он даже писал, чтобы мать не показывала мне его писем. В классе российской словесности, у того же самого Ибрагимова, успехи мои были так же блестящи; здесь преподавался синтаксис русского языка и производились практические упражнения, состоявшие из писанья под диктовку и из переложения стихов в прозу. Диктовка была нам очень полезна сколько для правописания, столько и для образования нашего вкуса, потому что Ибрагимов выбирал лучшие места из Карамзина, Дмитриева, Ломоносова и Хераскова, заставлял читать вслух и объяснял их литературное достоинство. Он сам не находил пользы в переложении

ниях и, только исполняя программу, раза два заставил нас ими заниматься. Вместо того он упражнял нас в сочинении небольших пьес на заданные темы. Что же касается до других классов, то во всеобщей и русской истории и в географии у Яковкина я шел наравне не с лучшими, а с хорошими учениками. В языках вообще успехи были плохи, без сомнения от плохих учителей. В арифметике я был слаб и в нижнем классе, а в среднем оказалось, что я не имею вовсе математических способностей; такая аттестация удержалась за мной не только в гимназии, но и в университете. Чистописание, рисованье и танцеванье шли порядочно. У священника я был в числе не отличных, но хороших учеников. В среднем классе бросил я тасканье аспидной доски и грифеля, к которым питал сильное отвращение, сохраняемое мною отчасти и теперь. Скрип от черченья грифелем по аспидной доске производил (и производит) содроганье в моих нервах.

Наконец, узнали мы, что Иван Ипатыч с молодой женой приехал в город и остановился в доме своей тещи. На другой же день он

приезжал взглянуть на своих воспитанников и чрезвычайно нас обласкал. Евсеич рассказывал мне по секрету, что Григорий Иванович очень сердился на Ивана Ипатыча за то, что он вместо одного проездил три месяца, говоря, «что ему очень надоело возиться с детьми, которых он не мог бросить без надзора и внимания, как делает это Иван Ипатыч». Последний извинялся, благодарил, обнимал своего товарища, но тот обошелся с ним очень сухо и грубо, грозя ему, что если он немедленно не наймет себе квартиру, то он выедет из дома и бросит его пансионеров. Надобно прибавить, что у Григорья Ивановича уже не было своих воспитанников. Несмотря на такие угрозы, Иван Ипатыч не скоро нанял себе квартиру, и Григорий Иванович прожил с нами еще два месяца, постоянно и добросовестно занимаясь нашим ученьем, содержанием и поведением. В эти пять месяцев я очень привязался к Григорию Ивановичу, хотя он не сказал мне ни одного ласкового слова и по наружности казался сухим и строгим. Я не мог тогда оценить достоинства этого человека и не мог бы его полюбить, если б мать не уведомляла меня

потихоньку, что он меня очень любит и очень хвалит и не показывает этого только для того, чтоб я, по молодости своей, не избаловался от его похвал. К сожалению, Григорий Иваныч держался этого ошибочного правила во все продолжение своего полезного, долговременного и важного служебного поприща, где приходилось иметь дело не с детьми, а часто со стариками. Кто имел случай узнать его коротко, тот сохранял к нему глубокое уважение и преданность во всю жизнь, но зато были хорошие люди, которых он оттолкнул от себя благонамеренною сухостью обращения и которые сочли его за человека гордого и жесткого, что было совершенно несправедливо. — Наконец, Иван Ипатыч нанял себе приличную квартиру. Переезжая к нему и расставаясь с Григорием Иванычем, я расплакался, хотел было обнять его, но он не допустил меня и, будучи сам растроган почти до слез (что я узнал впоследствии из его письма к моей матери), сухо и холодно сказал мне: «Это что такое? О чем вы плачете? Верно, боитесь, что Иван Ипатыч будет построже с вас разыскивать!» Признаюсь, на ту пору досадны

были мне эти слова! Я забыл сказать, что Иван Ипатыч привозил к нам свою молодую жену; мы заметили только, что у ней нет бровей и что она по простоте своей не умела сказать нам ласкового слова и беспрестанно краснела. У Ивана Ипатыча поместили нас, то есть меня и троих Манасеиных, в особом флигеле и сначала оставили без всякого надзора. Тут-то я почувствовал всю разницу между ним и Григорием Ивановичем. Мы видели Ивана Ипатыча только за обедом и ужином. Молодой муж был совершенно озабочен устройством своего нового положения и подгородной деревни Коцаково, состоявшей из шестидесяти душ, в двадцати верстах от города, которую он получил в приданое за женой и в которую уезжал на два дня каждую неделю. Остальное время он был занят преподаванием физики в высшем классе гимназии или заботами о семействе своей молодой супруги, из числа которого три взрослые девицы, ее сестры, жили у него постоянно. Домашним хозяйством никто не занимался, и оно шло весьма плохо, даже стол был очень дурен, и по этому обстоятельству случилось со мной

вот какое приключение: один раз за ужином (мы ужинали всегда в большом доме за общим столом) подали ветчину; только что я, отрезав кусок, хотел положить его в рот, как стоявший за моим стулом Евсеич толкнул меня в спину; я обернулся и с изумлением посмотрел на своего дядьку; он покачал головой и сделал мне знак глазами, чтобы я не ел ветчины; я положил кусок на тарелку и тут только заметил, что ветчина была тухлая и даже червивая; я поспешно отдал тарелку. Я сидел очень близко от Ивана Ипатыча, и он все это заметил. Надобно прибавить, что за столом, кроме воспитанников, сидели теща его, жена и три свояченицы. После ужина, когда мы все подошли к Ивану Ипатычу, чтобы раскланяться и идти спать, он приказал мне остаться и повел нас вместе с Евсеичем к себе в кабинет. Там он сделал мне строжайший выговор за то, что я поступил дерзко и, с намерением осрамить хозяина, обратил внимание всех на испортившуюся ветчину, которую, однако же, все из деликатности ели. Иван Ипатыч, прочтя мне длинное поучение и доказывая, что я сделал непростительный просту-

пок, разобрал очень обидно моего почтенного Евсеича. Я решительно не понимал своей вины и заплакал от незаслуженного оскорбления. Иван Ипатыч смягчился и сказал, что меня прощает, и даже хотел обнять, но я весьма искренно и наивно возразил ему, что плачу не от раскаяния, а оттого, что он обидел меня несправедливым подозрением в умысле и разобрал моего дядьку. Иван Ипатыч вновь рассердился, нашел во мне бог знает какое-то ожесточение, сказал, что я завтра буду примерно наказан, и отпустил спать. Я долго не мог заснуть, и мысль, что посторонний человек, без всякой моей вины, хочет меня как-то примерно наказать, оскорбляла и раздражала меня очень сильно. С тех пор как я стал себя помнить, никто, кроме матери, меня не наказывал, да и то было очень давно. Наконец, я уснул. На другой день поутру, когда мы оделись и пришли пить чай в дом, Иван Ипатыч, против обыкновения, вышел к нам, объяснил мою вину Манасеиным и Елагину,[17] приказал им идти в гимназию, а меня лишил чаю, велел остаться дома, идти во флигель, раздеться, лечь в постель и проле-

жать в ней до вечера, а вместо завтрака и обеда велел дать мне ломоть хлеба и стакан воды. Такое дурацкое и вовсе незаслуженное наказание для такого чувствительного и развитого мальчика, каким был я, должно было показаться и показалось несносным оскорблением, и я в самом деле с ожесточением и презрительною улыбкою посмотрел на своего наставника и поспешно ушел во флигель. Я разделся, лег в постель и взял читать какую-то книгу. Евсеич мой, не понимая нравственного оскорбления, от всей души смеялся над глупым наказанием, обижался только, что я буду голоден, и обещался достать мне потихоньку всего, что будет лучше за столом. Я с негодованием запретил ему это делать и выслал вон. Сначала я чувствовал только гнев и раздражение, потом принялся плакать и, наконец, заснул. Ночь я спал мало и потому заснул так, крепко, что проснулся только тогда, когда мои товарищи, пообедав в общей зале, пришли во флигель и начали играть и шуметь. Сон успокоил меня, я отказался от хлеба и воды и равнодушно перенес шутки и насмешки моих соучеников, кото-

рые также не находили меня виноватым и смеялись не столько надо мной, сколько над странностью моего наказания. Средний Манасеин, порядочный лентяй, даже завидовал мне и говорил, что желал бы всякий день быть так наказанным. Когда мои товарищи ушли в гимназию на послеобеденные классы, я принялся твердить уроки, заданные без меня поутру моим товарищам, и повторил вчерашнее. В седьмом часу вечера, когда воспитанники воротились из гимназии и пили чай в столовой, Иван Ипатыч прислал мне сказать, чтоб я оделся и пришел туда же. Я повиновался. Он встретил меня словами, «что прощает меня и что сокращением срока моего наказания я обязан дамам», — и он указал на свою тещу, жену и своячениц. Я поблагодарил их. Иван Ипатыч с женой ту же минуту куда-то уехали. Товарищи, напившись чаю, ушли во флигель, но меня дамы оставили при себе. Сейчас накрыли столик и принесли кушанье; меня посадили за стол, девицы сели около меня, кормили почти из своих рук и даже притащили банку с вареньем, которым я усердно полакомился. Все это сопровожда-

лось такими ласками, которые разнежили мое сердце. Оказалось, что барышни, хотя до сих пор не говорили со мной ни одного слова, давно полюбили меня за мою скромную наружность и что наказание, которое они и старуха, их мать, находили незаслуженным и бесчеловечным, возбудило в них также ко мне участие, что они неотступно просили Ивана Ипатыча меня простить и что сестра Катерина даже плакала и становилась перед ним на колени. Я заметил, что Катерина Петровна ужасно покраснела. Меня оставили в доме на целый вечер и подробно расспросили обо всем, до меня касающемся. Я, разумеется, разболтался и не только рассказал про свое Аксаково, про первое поступление свое в гимназию, но и прочел множество стихов наизусть, к чему я с давнего времени имел страстную охоту. Барышни искренно восхищались, ахали, хвалили и осыпали меня ласками. Я был также восхищен произведенным мной впечатлением, и детское мое самолюбие вскружило мне голову. После ужина я воротился во флигель вместе с моими товарищами, которые уже знали через брата Елаги-

ных, как меня ласкали и потчевали его сестры; товарищи расспрашивали и завидовали мне, и я не скоро заснул от волнения и каких-то непонятных мне фантазий.

Я с намерением описал подробно это неважное, по-видимому, обстоятельство. Последствием его было то, что я стал не так прилежно учиться. Старуха Елагина, так же как ее дочери, меня очень полюбила и нередко выпрашивала позволение у своего зятя приглашать меня по вечерам в дом, где я проводил часа по два очень весело. В воскресенье же и праздничные дни я беспрестанно бегал в дом и почти перестал ходить к родственникам моего отца, к Киреевой и Сафоновой, у которых прежде бывал часто. Товарищи продолжали мне завидовать, а Елагин, уже пятнадцатилетний болван и повеса, которого сестры прогоняли из нашего общества, хмурился на меня не на шутку и отпускал какие-то язвительные намеки, которых я решительно не понимал. Мало-помалу я совсем развлекся, и хотя Иван Ипатыч месяца через три нанял для нас студента, кончившего курс в духовной семинарии, Гурья Ивлича Ласточ-

кина, очень скромного и знающего молодого человека, с которым я мог бы очень хорошо заниматься, но я до самой весны, то есть до времени отъезда Елагиных в деревню, учился очень плохо. Только у одного Ибрагимова, в классе русской словесности и славянской грамматики, я оставался по-прежнему отличным учеником, потому что горячо любил и предмет учения и учителя. Месяца за полтора до экзамена я принялся заниматься с большим жаром. Гурий Ивлич очень полюбил меня в это время и усердно помогал моему прилежанию, но со всем тем я не был переведен в высший класс и остался еще на год в среднем; перешла только третья часть воспитанников и в том числе некоторые не за успехи в науках, а за старшинство лет, потому что сидели по два и по три года в среднем классе. Никто не ставил мне этого в вину, и хотя я находил вместе со всеми другими, что двухгодичное пребывание в среднем классе будет мне полезно и что так бывает почти со всеми учениками, но детское самолюбие мое оскорблялось, а всего более я боялся, что это огорчит мою мать. Опасения мои были напрасны. Ко-

гда я приехал на вакацию в Аксаково (1803 года) с Евсеичем и когда моя мать прочла письма Упадышевского, Ивана Ипатыча и Григорья Иваныча, то она вместе с моим отцом была очень довольна, что я остался в среднем классе. Но когда я с полною откровенностью подробно рассказал о моем пребывании и образе жизни в доме моего наставника, моя мать очень призадумалась и казалась недовольною. Ей не нравился Иван Ипатыч, его семейство и даже Гурий Ивлич Ласточкин, потому что она терпеть не могла семинаристов, в чем совершенно соглашался с нею мой отец, который называл их кутейниками. Этот предрассудок был особенно несправедлив в отношении к Гурью Ивличу, имевшему очень много достоинств.[18]

Всего же более оскорбило и раздражило мою мать нелепое наказание, которому подверг меня Иван Ипатыч. Желание взять меня от него и поместить к бывшему его товарищу возникло в душе ее с новою силою. Взять было не трудно, но убедить Григорья Иваныча нарушить свое намерение, единожды приня-

тое, — казалось невозможностью, которая увеличивалась еще тем обстоятельством, что он был не только товарищ, но и короткий приятель с Иваном Ипатычем. Выход лучшего ученика мог повредить ему во мнении других родителей, а перемещение мое к Григорью Иванычу люди, не знающие коротко обстоятельств, могли назвать переманкой. Очень огорчалась бедная моя мать, но не знала, как помочь горю. Ласки барышень Елагиных и особенно нежности одной из них ей также не нравились, к немалому моему удивлению. Она решилась приехать в Казань по зимнему пути: во-первых, для того, чтобы взглянуть своими глазами на мое житье, и, во-вторых, для того, чтобы употребить все усилия к убеждению Григорья Иваныча взять меня к себе. Третью причину я узнал впоследствии: мать моя хотела, чтобы все время, свободное от ученья, на праздниках зимней вакации, я проводил с нею, а не в семействе жены Ивана Ипатыча.

Летнюю вакацию я прожил в деревне так же приятно, как и прошлого года, но на обратном пути случилось со мной происше-

ствие, которое произвело на меня сильное впечатление и следы которого не изгладились до сих пор; я стал гораздо более бояться и теперь боюсь переправляться через большие реки. Вот как случилось это происшествие: мы приехали в полдень на летний перевоз через Каму, против села Шурана. На берегу дожидались переправы три крестьянских телеги с поклажей и возчиками и десятка полтора баб с кузовами ягод; бабы возвращались домой пешком на противоположный берег Камы. Перевозчиков на перевозе не было: куда разбрелись они, не знаю. Потолковав несколько времени, крестьяне и мои люди решились сами переправиться через реку, потому что один из крестьян вызвался править кормовым веслом, уверив, что он несколько лет был перевозчиком. Итак, выбрали лучший дощаник, поставили три крестьянские телеги с лошадьми, мою кибитку и всех трех наших лошадей; разумеется, взяли и всех баб с ягодами; мнимый перевозчик стал на корме, двое крестьян, мой кучер и лакей Иван Борисов (молодец и силач, один стоивший десятых) сели в весла, и мы отчалили от при-

стани. Между тем черная туча взмывала на западе и мало-помалу охватывала край горизонта; ее нельзя было не заметить, но все думали: авось пройдет стороной или авось успеем переехать. Пристань находилась против самого Шурана, и для того, чтоб не быть снесенным быстротою течения сердитой Камы и чтобы угодить прямо на перевоз, надобно было подняться вверх по реке, на шестах, с лишком версту. Это производилось очень медленно, а гроза быстро начала приближаться. Чтобы ускорить переезд, поднялись вверх только с полверсты, опять сели в весла и, перекрестившись, пустились на перебой поперек реки; но лишь только мы добрались до середины, как туча с невероятной скоростью обхватила весь горизонт, почерневшее небо еще чернее отразилось в воде, стало темно, и страшная гроза разразилась молнией, громом и внезапной неистовой бурей. Кормщик наш в испуге бросил кормовое весло и признался, что он совсем не перевозчик и править не умеет; вихрь завертел наш паром, как щепку, и понес вниз по течению; бабы подняли пронзительный вой — и ужас овла-

дел всеми. Я так испугался, что не мог промолвить ни одного слова и дрожал всем телом. Вихрем и быстротой течения снесло наш дощаник несколько верст вниз по реке и, наконец, бросило на песчаную отмель, по счастью, саженьях в пятидесяти от противоположного берега. Иван Борисов спрыгнул в воду, она была ему по пояс; он дошел бродом до берега, глубина воды нигде не доставала выше груди. Он воротился тем же путем на паром, стащил с него одну из наших лошадей помирнее, посадил меня верхом, велел крепко держаться за гриву и за шею лошади и повел ее в поводу; Евсеич шел подле и поддерживал меня обеими руками. Мутные и огромные волны хлестали через нас и окачивали с головой; по несчастью, Борисов, идя впереди, сбился с того брода, по которому прошел два раза, и попал на более глубокое место; вдруг он нырнул в воду, лошадь моя поплыла, и Евсеич отстал от меня; тут-то я почувствовал такой страх близкой смерти, которого я не забыл до сих пор; каждую минуту я готов был лишиться чувств и едва не захлебнулся; по счастью, глубина продолжалась не более двух

или трех сажень. Борисов плавал мастерски, лошадь моя от него не отставала, и, не выпуская поводка из рук, он скоро выплыл на мелкое место и благополучно вывел на берег моего коня, но Евсеич, не умевший хорошо плавать, едва не утонул и насилу выбился на берег. Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади почти без памяти; пальцы мои заоченели, замерли в гриве моего коня, но я скоро опомнился и, невыразимо обрадовался своему спасенью. Евсеич остался со мной, а Борисов пустился опять к дощанику, с которого бабы с криками и воплями, не расставаясь с кузовьями ягод, побросались в воду; мужики по столкали своих лошадей и телеги, и все кое-как, по отмели, удачно отыскав брод помельче, добирались до берега. Дощаник, облегченный от большей части груза, поднялся, и его начало тащить водою вниз по течению. Вот тут-то пригодилась сила Ивана Борисова: он удерживал дощаник до тех пор, покуда наш кучер столкнул на отмель лошадей и нашу повозку; Борисов перестал держать паром, и его сейчас унесло вниз по реке. Стоя в воде по пояс, заложили лошадей, и повозка моя, под-

мочив все в ней находившееся, выехала на берег. Мы сели, мокрые и озябшие, и поскакали в Шуран; там обогрелись, обсушились, напились горячего чаю, и холодная ванна не имела для нас никаких дурных физических последствий. Но зато напугалась моя душа, и я во всю мою жизнь не мог и не могу смотреть равнодушно на большую реку даже в тихое время, а во время бури чувствую невольный ужас, которого не в силах преодолеть.

Возвратясь в гимназию, я принялся прилежно учиться. Семейство Елагиных было в деревне, и никто не развлекал меня. Гурий Ивлич, обрадованный моим прилежанием, усердно со мною занимался, и я скоро сделался одним из лучших учеников во всех средних классах, кроме математики. О классах Ибрагимова я уже не говорю: там я был постоянно первым. В это время я уже горячо любил гимназию, учителей, надзирателей и веселых товарищей. Меня не смущала более эта беспрестанная суматоха и беготня, этот шум, говор, хохот и крик. Я не чувствовал их, — я сам пел в хоре, и строен, увлекателен показался мне этот хор. Осень стояла продолжительная

и дождливая. В городе появилась сильная эпидемия лихорадок, которая посетила и меня. Бениса уже не было при гимназии, и знакомый нам Андрей Иванович Риттер лечил всех гимназистов, даже полупансионеров и своекоштных; в том числе лечил и меня. Сначала он довольно скоро перервал лихорадку, но она через несколько дней воротилась. Огромные порошки хинной корки с глауберовой солью, о которых я до сих пор не могу вспомнить без отвращения, вторично прогнали лихорадку, но через две недели она опять воротилась с большею жестокостью; так длилось дело довольно долго. Евсеич, видя, что лечение идет плохо, усумнился в искусстве лекаря, которого знал прежде за большого гуляку и который нередко приезжал ко мне, как выражался мой дядька, «на втором взводе». Евсеич осмелился доложить об этом Ивану Ипатычу, прося его взять для меня другого лекаря. Иван Ипатыч осердился, сказал, что Риттер славится во всем городе успешным лечением лихорадок, и прогнал моего дядьку; но он, любя меня горячо и помня приказание барыни, уведомил ее письмом о моей болез-

ни. Моя мать, испуганная и встревоженная, еще не оправившаяся после родов (семейство наше умножилось третьим братом), немедленно приехала в Казань одна, наняла квартиру, перевезла меня к себе, пригласила лучшего доктора и принялась за мое лечение. Приезд в Казань было новое самопожертвование со стороны моей матери. Здоровье ее очень от того пострадало... и вся жизнь ее состояла из таких самопожертвований! — С Иваном Ипатычем не обошлось без неприятных объяснений; он обижался и тем, что мать перевезла меня на свою квартиру, и тем, что взяла другого доктора. Покуда меня лечили, что продолжалось месяца два, потому что у меня очень болел правый бок, у Ивана Ипатыча вышла какая-то неприятность с родителями Манасеиных, вследствие чего он уничтожил свой пансион и объявил, что более держать воспитанников не хочет. Мать моя очень обрадовалась этому обстоятельству: она и без того не оставила бы меня у Ивана Ипатыча, но тогда ей было бы гораздо труднее, даже невозможно, убедить Григорья Ивановича взять меня к себе прямо от своего прия-

теля. Впрочем, и теперь она встретила столько затруднений, что успех долго казался сомнительным. Надобно сказать, что во все продолжение вторичного пребывания моего в гимназии, дружеские отношения Григорья Иваныча к моему семейству не только не ослабевали, но постепенно возрастали. Мать моя вела с ним самую живую переписку, и он должен был оценить ее ум, необыкновенную материнскую любовь и постоянную к нему дружбу, основанную на уважении к его строгим нравственным правилам. Не один раз слышал я сам из другой комнаты, с каким жаром сердечного красноречия, с какими горячими слезами моя мать убеждала, умоляла Григорья Иваныча быть моим воспитателем... наконец, твердость его была побеждена: он согласился, хотя весьма неохотно. Он взял меня не как воспитанника или пансионера, а как молодого товарища; ему было тогда двадцать шесть лет, мне — тринадцать. Он ни за что не согласился взять за меня деньги, но предложил, чтобы наем квартиры и стол мы держали пополам, а для большего удобства я имел свой особый чай; все прочие

издержки, как его, так и мои, разумеется, каждый из нас производил на свой счет. Когда моя мать достигла исполнения этого пламенного и давнишнего своего желания, она была так счастлива; так светла и радостна, что я глубоко почувствовал, что с любовью матери никакая другая любовь сравниться не может. Я также был очень рад, что попал к Григорью Иванычу. Я чувствовал к нему глубокое уважение и даже любил его; несколько странные и сухие его приемы не пугали меня: я хорошо знал, что эта холодная наружность, вследствие его взгляда на воспитание, была принята им за правило в обращении с молодыми людьми; я думал тогда, что, может быть, так и надо поступать, чего, конечно, не думаю теперь.

Немедленно наняли довольно хороший и поместительный дом тех же самых Елагиных, дом, в котором они тогда не жили, а отдавали внаймы. Сначала мать переехала туда со мною, устроила наше будущее хозяйство и, сдав меня, уже совершенно выздоровевшего, с рук на руки Григорью Иванычу, исполненная самых приятных надежд, уехала в Орен-

бургское Аксаково к остальному своему семейству. Это было уже в феврале 1804 года. — Я не знаю более отрадного воспоминания из моей ранней молодости, как воспоминание жизни у Григорья Иваныча. Она продолжалась два года с половиной, и хотя в конце ясность ее помутилась, но в благодарной памяти моей сохранились живее и отчетливее только утешительные картины. Долго не соглашался Григорий Иваныч взять меня; но зато, согласившись, — посвятил мне всего себя. Ученье в классах, с успехом продолжаемое, было, однако, делом второстепенным: главным делом были упражнения домашние. Я постоянно ходил только к некоторым учителям; классы же арифметики, рисованья и каллиграфии посещались мною редко; в эти часы я работал дома под руководством моего разумного наставника. Странное дело, что математика решительно не шла мне в голову! Григорий Иваныч сначала усердно занимался со мною, и нельзя сказать, чтоб я не понимал его необыкновенно ясных толкований; но я сейчас забывал понятое, и Григорий Иваныч подумал, что я даже не понимаю ничего.

Зная, что я был дружен с лучшим студентом математики, Александром Княжевичем, он предложил ему попробовать заняться со мною, и что же? У Княжевича я понимал гораздо лучше, чем у Григория Иваныча, и далее помнил. Но все это ни к чему не повело: через несколько дней не оставалось в голове моей ни одного предложения, ни одного доказательства. Отличная память моя относительно математики оказывалась чистым листом белой бумаги, на котором не сохранялось ни одного математического знака, а потому наставник мой, сообразно моим природным наклонностям и способностям, устроил план моего образования: общего, легкого, преимущественно литературного. Он выписал для меня немедленно множество книг. Сколько могу припомнить, это были: Ломоносов, Державин,[19] Дмитриев, Капнист и Хемницер. У меня был уже Сумароков и Херасков, но Григорий Иваныч никогда не читал их со мною. На французском языке были выписаны Массильон, Флешье и Бурдалу, как проповедники; сказки Шехеразады, «Дон Кишот», «Смерть Авеля», Геснеровы «Идиллии», «Вак-

фильдский священник», две натуральные истории, и в том числе одна с картинками, каких авторов — не знаю. Натуральная история была для меня самой привлекательной наукой. Других книг не припомню, но были и еще какие-то. Воспитатель мой прежде всего занялся со мною иностранными языками, преимущественно французским, в которых я, да почти и все ученики, был очень слаб; в три месяца я мог свободно читать и понимать всякую французскую книгу. Ученье вокабул, грамматики и разговоров шло само по себе в классе; но дома я ничего не учил наизусть. Григорий Иваныч брал книгу, заставлял меня читать и переводить словесно. Сначала я ровно ничего не понимал, и это было мне дико и скучно; но учитель мой упорно продолжал свою методу, и скорый успех удивил и обрадовал меня. Неизвестные слова я записывал особо; потом словесный перевод, всегда повторенный два раза, писал на бумаге; при моей свежей памяти, я, не уча, всегда знал наизусть на другой же день и французский оригинал, и русский перевод, и все отдельно записанные слова. Первая прочитанная и пере-

веденная мною статья была из французской хрестоматии: «Les aventures d'Aristonoy»; непосредственно после нее я начал читать и переводить Шехеразаду, а потом «Дон Кишота». Некоторые места мне не позволялось читать, и я с точностью исполнял приказание. Боже мой! как было мне весело учиться по таким веселым и увлекательным книгам! Даже теперь, по прошествии пятидесяти лет, я вспоминаю с живейшим удовольствием об этих чтениях; помню, с каким нетерпением дожидался я назначенного для них времени, почти всегда немедленно после обеда!

Григорий Иванович серьезно занимался своей наукой и, пользуясь трудами знаменитых тогда ученых по этой части, писал собственный курс чистой математики для преподавания в гимназии; он читал много немецких писателей, философов и постоянно совершенствовал себя в латинском языке.[20]

Читая же со мною Шехеразаду и «Дон Кишота», он отдыхал от своих умственных трудов и от души хохотал вместе со мною, как совершенный мне ровесник, или, лучше ска-

зять, как дитя, чем сначала приводил меня в большое изумление; в это время нельзя было узнать моего наставника; вся его сухость и строгость исчезали, и я полюбил его так горячо, как родного старшего брата, хотя в то же время очень его боялся. Но когда я довольно успел во французском языке, чтение русских писателей, преимущественно стихотворцев, сделалось главнейшим нашим занятием. Григорий Иваныч так хорошо, так понятно объяснял мне красоты поэтические, мысль автора и достоинство выражений, что моя склонность к литературе скоро обратилась в страстную любовь. Без всякого усилия с моей стороны я выучивал все лучшие стихи из Державина, Ломоносова и Капниста, которые выбирал для меня мой строгий воспитатель; стихотворения же Ив. Ив. Дмитриева, как образцовые тогда по чистоте и правильности языка, я знал наизусть почти все. Мы очень мало читали русской прозы, вероятно оттого, что мой наставник не был доволен тогдашними прозаиками. Достойно замечания, что он не читал со мною Карамзина, кроме некоторых писем «Русского путешественника», и не

позволил мне иметь в моей библиотеке «Мои безделок». Я читал уже прежде все, написанное Карамзиным, знал на память и с жаром декламировал «Прощанье Гектора с Андромахой» и «Опытную Соломонову мудрость». Я поспешил было похвастаться этим пред своим наставником, но он наморщился и сказал, «что первая пиеса не дает понятия о Гомере, а вторая об Экклезиасте», и прибавил, «что Карамзин не поэт и что лучше эти пиесы совсем позабыть». Я был очень изумлен; обе пиесы мне нравились, и я продолжал декламировать их потихоньку, когда мне случилось одному гулять по саду. Сочинять мне не дозволялось, и я наслаждался этим удовольствием или в классе у Ибрагимова, или дома, также потихоньку. Я слышал один раз из своей комнаты, которая отделялась тонкою дверью от гостиной, служившей ученым кабинетом и спальней для Григорья Иваныча, как он разговаривал обо мне с Ибрагимовым. Ибрагимов очень меня хвалил и показал моему воспитателю мое классное сочинение, в виде письма к приятелю, «О красотах весны» и прибавил, что не худо бы занимать меня по-

более сочинениями. Григорий Иваныч, сохранявший всегда над своими товарищами какое-то превосходство, весьма решительно ему отвечал: «Все это, братец, совершенные пустяки. Сочинение его состоит из чужих фраз, нахватанных им из разных книг, а потому даже и нельзя судить, имеет ли он свое собственное дарование. Охота у него большая, и я знаю, что он скоро начнет марать бумагу, но я буду держать его на вожжах, как можно дольше: чем позже начнет сочинять мой Телемак, [21]

тем лучше. Надобно, чтобы молодой человек набрался хороших примеров и образовал свой вкус, читая сочинителей, пишущих стройно и правильно. Ты думаешь, я всего Державина даю ему читать? Напротив, он знает стихотворений двадцать, не больше, а Дмитриева знает всего. Я думаю, ты у меня его портишь. Вероятно, «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь» и драматический отрывок «Софья» не выходят у тебя в классе из рук?» Ибрагимов обиделся и возразил, «что он хорошо понимает, что эти пиесы, несмот-

ря на их прелесть, не приличны для учеников». — «Хорошо, что так, — продолжал мой наставник, — а наш Эрих[22] именно эти пьесы заставил переводить на французский язык». Разговор продолжался довольно долго, и как я ни был молод, но понимал разумность речей моего воспитателя. Он не знал, что я дома, и оттого так громко разговорился обо мне: я воротился из гимназии ранее обыкновенного, потому что учителя не было в классе, и прошел в свою комнату, никем не замеченный. Тут я услышал также, как высоко Григорий Иваныч ценил мою мать; но, увы, ни одного лестного отзыва не сказал он обо мне, а как мне хотелось услышать что-нибудь подобное! Точно он знал, что я подслушиваю у двери. — Странное, непостижимое дело! Рассуждая теперь о прошедшем, я не умею себе объяснить, отчего я был так горячо привязан к Григорию Иванычу? По молодости я не мог тогда понимать вполне, что его сухое обращение прикрывало глубокое участие и душевное расположение ко мне. Он ни разу не приласкал меня, не польстил моему самолюбию какою-нибудь похвалою, не ободрил моего

прилежания, и со всем тем я любил его так горячо, как не любил никого из посторонних. Я помню, как один раз услышал я, что он смеется: я заглянул в его комнату и увидел, что мой строгий наставник, держа в руке какую-то математическую книгу, хохочет, как дитя, смотря на играющих котят... Лицо у него в то время было такое доброе, ласковое, даже нежное, что я позавидовал котяткам. Я вошел к нему в комнату с своей тетрадкой — и прежняя спокойная холодность, даже какая-то суровость, выразились на его лице.

Так шло мое время; Григорий Иваныч становился по временам доступнее, и речи его если не были ласковы, то по крайней мере иногда делались шутливы, но только наедине, преимущественно во время чтения «Дон Кишота», в котором Санхо Пансо был для нас неистощимым источником смеха; как же скоро появлялся третий, хотя бы Евсеич, — наставник мой делался серьезным.

Григорий Иваныч был сын малороссийского дворянина, священника, имевшего около ста душ крепостных крестьян; прадед его, турок, не знаю, по каким причинам, выехал из

Турции, принял христианскую веру, женился и поселился в Малороссии. Григорий Иваныч не был любимым сыном у матери, но зато отец любил его с материнскою нежностью. Видя, что мальчику в доме житье плохое, отец отвез его по девятому году в Москву и поместил в университетскую гимназию на казенное содержание. Сын был горячо, страстно к нему привязан и очень тосковал, оставшись в Москве; старик через год приехал навестить его, и мальчик так обрадовался, что получил от волнения горячку; бедный отец не мог долго мешкать в Москве и должен был оставить своего любимца еще больного. Через год старик умер. В продолжение восемнадцати лет, со времени своего определения в московскую гимназию, Григорий Иваныч один только раз ездил на побывку в Малороссию, перед поступлением в звание учителя, и вывез из родительского дома неприятное и тягостное ощущение. Все это рассказал мне его слуга, хохол Яшка, которого он привез с собою. В выговоре моего воспитателя, в складе его ума и в наружности не было ни малейшего признака малоросса. Кажет-

ся, родина не привлекала его, и я часто слышал, как он, высоко ставя великорусский толк, подсмеивался над хохлацкой ленью и тупостью, за что очень сердились его земляки — Иван Ипатыч и Маркевич, служивший в гимназии экономом, человек необыкновенно добрый, с порядочным брюхом, природный юморист и презабавный шутник, который очень ласкал меня и которого я очень любил.

Пришла весна 1804 года, и на страстной неделе Григорий Иванович говел со мною, соблюдая пост и церковные обряды со всею строгостью. Приходская наша церковь св. Великомученицы Варвары находилась у самой заставы, за так называемым Арским полем; мы, несмотря на весеннюю распутицу, ходили в церковь на все службы, даже к заутрене. В это время зашел к нам Иван Ипатыч, и я нечаянно услышал, как он шутил над богомолем Григорья Иваныча. Из его слов можно было заключить, что мой воспитатель не был прежде ревностным исполнителем религиозных обрядов; но на этот раз он строго отделал своего приятеля за неуместные шутки, так что Иван Ипатыч, имевший претензию слыть

философом, очень осердился и долго не ходил к нам. Я должен сказать, что Григорий Иванович во всю жизнь был истинным христианином. Несмотря на маленькую ссору с Иваном Ипатычем, наставник мой уехал со мной в его деревню, и мы вдвоем провели время в Коцакове, без хозяев, очень приятно; мы жили в небольшом флигеле на берегу широкого пруда, только что очищавшегося тогда от зимнего льда; мы постоянно читали что-нибудь и, несмотря на грязь, каждый день два раза ходили гулять. Весна развлекала меня и слишком живо напоминала весну в Аксакове. Крик прилетных птиц волновал душу будущего охотника. Один раз, когда Григорий Иванович читал со мною серьезную книгу на французском языке и, сидя у растворенного окна, старался объяснить мне какую-то мысль, неясно мною понимаемую, — вдруг кулик красноножка, зазвенев своими мелодическими трелями, загнув кверху свои крылья и вытянув длинные красные ноги, плавно опустился на берег пруда, против самого окошка, — я вздрогнул, книга выпала у меня из рук, и я бросился к окну. Наставник мой был

изумлен. Я, задыхаясь, повторял: «Кулик, кулик красноножка, сел на берег близехонько, вон он ходит...» Но Григорий Иванович не понимал чувства охотника и сурово приказал мне сесть и продолжать. Я повиновался, и хотя не смотрел на кулика, но слышал его голос; кровь бросилась мне в лицо, и я не понимал ни одного слова в моей книге. Воспитатель мой с неудовольствием велел мне положить ее и заняться переписыванием набело одного из моих прежних, уже исправленных им, переводов, а сам принялся читать. Через час он спросил меня: «Вылетел ли кулик из вашей головы?» Я отвечал утвердительно, и мы принялись за прерванное занятие. Надобно прибавить, что Григорий Иванович всегда был очень снисходителен в подобных случаях: как только он замечал, что я утомлялся или развлекался чем-нибудь, он приказывал мне идти гулять по саду или заняться механическим делом.

Наступил июнь и время экзаменов. Я был отличным учеником во всех средних классах, которые посещал, но как в некоторые я совсем не ходил, то и награждения никакого не

получил; это не помешало мне перейти в высшие классы. Только девять учеников, кончив курс, вышли из гимназии, а все остальные остались в высшем классе на другой год.

Тройка лошадей и повозка уже приехали за мной. Мы с Евсеичем собрались в дорогу, и в день публичного акта, также в первых числах июля, после обеда назначено было нам выехать. Накануне Григорий Иванович сказал, что хочет проводить меня, и спросил, доволен ли я его намерением? Я отвечал, что очень доволен. Я подумал, что он хочет проводить меня за город. На другой день поутру Евсеич шепнул мне по секрету: «Григорий Иванович едет с нами в Аксаково, только не велел вам сказывать». Хотя я занимался ученьем очень охотно, но не совсем был доволен этим известием, потому что во время вакации я надеялся хорошенько поудить, а главное — пострелять; отец обещал еще за год, что он приготовит мне ружье и выучит меня стрелять. Я знал, что Григорий Иванович не прекратит своих занятий со мной и отнимет у меня много времени; к тому же мне показалась неприятною его скрытность. Евсеич также почему-то

не был доволен. После акта мы пообедали несколько ранее обыкновенного и выехали из города. Я не показывал виду, что знаю намерение Григорья Иваныча. Выехав за заставу, мы пошли пешком. Наставник мой был очень доволен и даже весел: любовался видом зеленых полей, лесов и мелкими облачками летнего неба. Вдруг он сказал, улыбаясь: «Погода так хороша, что я хочу проводить вас до ночевки, до Мёши, и посмотрю, как вы меня накормите рыбой». Я притворился, что ничего не знаю. «Так сядемте же и поедемте поскорее, — сказал я, — чтоб пораньше приехать. Да когда же и на чем вы воротитесь?» — «Я ночую с вами в повозке, а завтра поутру найму телегу», — отвечал Григорий Иваныч, смотря на меня пристально. Мы сели и поехали шибкой рысью. Вечер был великолепный, очаровательный; с нами были удочки, и мы с Евсеичем на Мёше наудили множество рыбы, которую и варили и жарили; спать легли в повозке. Проснувшись на другой день поутру, я увидел, что мы едем, что солнце уже взошло высоко и что Григорий Иваныч сидит подле меня и смеется. Я сам рассмеялся и признал-

ся, что знал его намерение давно. Он пожурил, однако, Евсеича за нескромность и, прочтя на моем лице, что я не совсем доволен, сказал: «Вы боитесь, что я помешаю вам гулять, но не бойтесь. Я стану заниматься с вами тогда, когда вы сами будете просить о том. Вот теперь дорогой нечего нам делать, так мы будем что-нибудь читать...» И вытащил из кармана книгу. Я был совершенно утешен такими словами и охотно бросился бы на шею своему воспитателю, но я не смел о том и подумать. Мы очень много занимались дорогой, а сверх того я перечитал наизусть все, что знал, даже разговаривали гораздо больше и откровеннее, чем в Казани; но где только можно было удить — я удил, сколько было мне угодно. Таким образом в пятый день приехали мы в Аксаково. Приезд Григорья Иваныча был самою приятною неожиданностью для моей матери; она пришла в восхищение.

Против всякого ожидания, мы нашли полон дом родных, гостей и большую суматоху: тетка моя Евгенья Степановна выходила замуж, и через несколько дней назначена была свадьба. Евгенье Степановне стукнуло уже со-

рок лет, но она была очень свежа и моложава; ей наскучило жить в доме у невестки и находиться в полной зависимости от хозяйки, которая в старые годы много терпела от своих золовок и в том числе от нее, хотя она была лучше других. Евгенье Степановне захотелось, хоть под старость, зажить своим домком, иметь свой уголок и быть в нем полной хозяйкой. Она вышла замуж за Василья Васильевича Угличина, целый век служившего в военной службе и недавно вышедшего в отставку полковником. Это был человек очень простой, добрый, смирный и честный; ему было далеко за пятьдесят лет. Он не имел никакого состояния, кроме пенсии, и происходил из самобеднейших дворян или однодворцев, переселившихся в Уфимское наместничество. Четырнадцать лет определили его в военную службу; он служил тихо, исправно, терпел постоянно нужду, был во многих сражениях и получил несколько легких ран; он не имел никаких знаков отличия, хотя формулярный список его был так длинен и красноречив, что, кажется, должно бы его обвешать всякими орденами. Последнее время он

служил на Кавказе, откуда вывез небольшую сумму денег, накопленную из жалованья, мундир без эполет, горского, побелевшего от старости, коня, ревматизм во всем теле и катаракт на правом глазу; катаракт, по счастью, был не так приметен, и Василий Васильич старательно скрывал его, боясь, что за криво-го не пойдет невеста. У Евгеньи Степановны в семи верстах от ее сестры Александры Степановны находилась деревушка из двадцати пяти душ, при ней маленький домик, сплоченный из двух крестьянских срубов, на родниковой речке Бавле, кипевшей форелью (уголок очаровательный!), и достаточное количество превосходной земли со всякими угодьями, купленной на ее имя у башкирцев за самую ничтожную цену, о чем хлопотал деверь ее, сам полубашкирец, И. П. Кротков.[23]

И такое ничтожное именьеце казалось заслуженному воину спокойной пристанью, куском хлеба на старость.

Все потихоньку подсмеивались над старым и кривым женихом, кроме моей матери, отца и Григорья Иваныча, которые обходи-

лись с ним с уважением и приветливо. Злые языки объясняли ласковость моей матери тем, что она хотела сбыть с рук золовку. Но это неправда: моя мать всегда умела ценить и уважать простодушных и бесхитростных людей; она искренно советовала Евгенье Степановне выйти замуж за доброго человека, и Евгенья Степановна благодарила ее за эти советы во всю свою жизнь. Григорий Иваныч находил, сверх того, особенное удовольствие в разговорах с заслуженным инвалидом, и Василий Васильич, до крайности неразговорчивый с другими, охотно отвечал на его вопросы и рассказывал очень много любопытного. Воспитатель мой тогда же обратил мое внимание и сочувствие к этому человеку, объяснив мне его достоинства, которых я, по молодости лет, мог не понять и не заметить. В доме не было места для мужчин, даже женщины с трудом помещались, потому что три комнаты были отделены для будущих молодых. Это привело в затруднение мою мать, и она сделала поступок, которого мужнина родня никогда ей не прощала: она отдала Григорью Иванычу свою спальню, в которую никто

из посторонних не смел и входить, и поместила с ним меня, разумеется на то время, пока не разъехались гости. В положенный срок свадьба благополучно совершилась. Отец мой проводил молодых Угличининых на новоселье и немедленно воротился. Наконец, мы остались одни в своей семье.

Я прерываю свой рассказ и забегаю вперед. Так живо представилась мне жизнь Угличининых, что хочется поговорить о ней... Несмотря на недостатки и нужду, которых не знала Евгенья Степановна в своей девической жизни, проведя ее сначала в доме родительском, а потом в доме брата и снохи, и которые она узнала замужем, она была совершенно счастлива. Она любила нежно и горячо своего инвалида-полковника, который также очень нежно и глубоко любил ее. К сожалению, они не имели детей. Евгенья Степановна до глубокой старости сохранила какой-то девический целомудренный вид; в обращении с мужем она была стыдлива и никогда никакой ласки при свидетелях ему не оказывала, над чем иногда подсмеивался старый воин, намекая, что не всегда Евгенья Степановна бывает так

неприступна. При других они были далеки между собой, всегда говорили друг другу *вы* и вообще обходились очень учтиво. С первого взгляда это могло показаться холодностью, но скоро взаимное заботливое внимание, постоянное наблюдение друг за другом, участие к каждому слову и движению — делались заметны, и всякий убеждался, что Евгенья Степановна живет и дышит Васильем Васильичем, а Василий Васильич, хотя не так тревожно, живет и дышит Евгеньей Степановной. Домик их блистал опрятностью и чистотой, привлекал уютностью, дышал спокойствием, тишиной, счастьем. Нельзя сказать, чтоб у них были одинаковые вкусы, но самое разногласие сливалось у них в стройное течение жизни. Евгенья Степановна, например, любила кошек, собачек, певчих птичек, которые, надобно заметить, как-то у нее не сорили, не пачкали и ничего не портили; Василий Васильич совсем не любил их, но самая безобразная, хрипучая моська, с языком на сторону, по прозванию «Калмык», была ему приятна и дорога, потому что ее любила Евгенья Степановна, и он кормил, ласкал отвратительного

Калмыка с удовольствием и благодарностью. Даже сурок, который зимовал под печкой, который очень забавлял Евгенью Степановну и очень обижал Василья Васильича, потому что затаскивал и прятал его туфли так искусно, что иногда целый день не могли отыскать их, отчего приходилось полковнику вставать с постели босиком, — даже и сурок пользовался его благосклонностью. Все у них в домике было как-то на своем месте, как-то лучше, чем у других: собаки и кошки жирнее и опрятнее, певчие птички веселее и голосистее, растения зеленее. Подарят, бывало, им горшок каких-нибудь засыхающих цветов, — они у них оживут, позеленеют и необыкновенно разрастутся, так что прежний хозяин выпросит их назад. В маленьких комнатах у Евгеньи Степановны росли и стручковое дерево, и финик, и виноград от косточек изюма, и другие растения, требующие тепличного содержания. Как будто в воздухе было нечто успокоительное и живительное, отчего и животному и растению было привольно и что заменяло им, хоть отчасти, дикую свободу или природный климат... Василий Васильич и Евгенья

Степановна вместе смотрели за своим маленьким хозяйством, и, без всякого отягощения, всего делалось у них вдвое более, скорее и лучше, чем у других. Вместе ходили они по грибы и по ягоды, вместе ловили чудную форель в своей речке и вместе радовались всякой удаче... Но, боже мой, что делалось с нами, если кто-нибудь из них захварывал! Тут только сказывалась вполне эта взаимная, глубокая и нежная любовь, которую в обыкновенное время не вдруг и заметишь... Но я удержусь от дальнейших подробностей, которые завели бы меня далеко. Скажу только, что впоследствии, заезжая иногда в этот уединенный уголок и посматривая несколько часов на эту бесцветную, скромную жизнь, я всегда поддавался ее впечатлению и спрашивал себя: не здесь ли живет истинное счастье человеческое, чуждое неразрешимых вопросов, неудовлетворяемых требований, чуждое страстей и волнений? Долго звучал во мне гармонический строй этой жизни, долго чувствовал я какое-то грустное умиление, какое-то сожаление о потере того, что иметь, казалось, так легко, что было под руками. Но когда за-

давал я себе вопрос, не хочешь ли быть Васильем Васильичем?.. — я пугался этого вопроса, и умилительное впечатление мгновенно исчезало.

Отец мой сдержал свое обещание: он приготовил мне легонькое ружье, очень ловкое в прикладе и красиво отделанное, *с видом*[24] (на манер тогдашних охотничьих английских ружей), с серебряной насечкой и целью; он купил его как-то по случаю, за пятнадцать рублей ассигнациями, и хотя ружье было тульской работы, но и по тогдашним ценам стоило вдвое или втрое дороже; шагов на пятьдесят оно било очень хорошо. — Первый выстрел из ружья, которым я убил ворону, решил мою судьбу: я сделался безумным стрелком. На другой день я застрелил утку и двух болотных куликов и окончательно помешался. Удочка и ястреб были забыты, и я, увлеченный страстностью моей природы, бегал с ружьем целый день и грезил об ружье целую ночь. Так продолжалось и последующие дни. Григорий Иваныч, видя меня только мельком, всегда занятого и спешащего, напрасно ожидал, чтобы я попросил его заняться со

мною. Он сказал о нашем уговоре моей матери, и она приказала мне, чтобы я просил Григорья Иваныча занимать меня, каждый день два часа, чем-нибудь по его усмотрению. Такое приказание было мне очень не по вкусу, но я повиновался. Сначала Григорий Иваныч не мог без смеха смотреть на мою жалкую фигуру и лицо, но когда, развернув какую-то французскую книгу и начав ее переводить, я стал путаться в словах, не понимая от рассеянности того, что я читал, ибо перед моими глазами летали утки и кулики, а в ушах звенели их голоса, — воспитатель мой наморщил брови, взял у меня книгу из рук и, ходя из угла в угол по комнате, целый час читал мне наставления, убеждая меня, чтобы я победил в себе вредное свойство увлекаться до безумия, до забвения всего меня окружающего... Увы, я ничего не слышал, ничего не понимал, и все его золотые слова, справедливые мысли, убедительные доказательства улетали на воздух. Видя безуспешность убеждений, Григорий Иваныч испытал другое средство: на целую неделю оставил он меня на свободе с утра до вечера бегать с ружьем до упаду, до

совершенного истощения; он надеялся, что я опомнюсь сам, что пресыщение новой охотой и усталость возвратят мне рассудок; но напрасно: я не выпускал ружья из рук, мало ел, дурно спал, загорел, как арап, и приметно поухудел. Тогда наставник мой, опасаясь за мое здоровье, принял решительные меры, которые давно советовала ему моя мать, но в распоряжения его не мешалась: ружье повесили на стенку, и мне запретили ходить на охоту. Смешно и совестно вспомнить, что было со мною в первые сутки! Я плакал, ревел, как маленькое дитя, валялся по полу, рвал на себе волосы и едва не изорвал своих книг и тетрадей, и, конечно, только огорчение матери и кроткие увещания отца спасли меня от глупых, безумных поступков; на другой день я как будто очнулся, а на третий мог уже заниматься и читать вслух моих любимых стихотворцев со вниманием и удовольствием; на четвертый день я совершенно успокоился, и тогда только прояснилось лицо моего наставника. Во все эти дни он почти не говорил со мною и смотрел на меня то сурово, то с обидным сожалением. Наконец, он обратился ко

мне с участием и разумными, снисходительными словами, и на этот раз — с полным успехом. Мне было совестно, досадно на самого себя почти до слез, и, переходя от одной крайности к другой, я хотел отказаться совсем от ружья. Григорий Иваныч опять был недоволен; он не одобрил моего намерения и потребовал, чтобы я каждый день ходил на охоту или от утра до обеда, или от обеда до вечера; но чтобы каждый день три-четыре часа я занимался с участием и прилежанием, особенно историей и географией, в которых я был несколько слабее других отличных учеников. Время потекло правильно и приятно.

В продолжение этого месяца, предаваясь без помехи дружеским и откровенным разговорам, мои родители еще более стали уважать и ценить светлый ум и высокие качества души Григорья Иваныча, соединенные в нем с многосторонним образованием и основательной ученостью. Мать употребила все влияние своей любви на меня, чтобы я понял, какого человека судьба послала мне наставником. Она видела в этом особенную милость божию. Я не только понимал, но и сильно

чувствовал слова матери. Я уверял ее, но, к сожалению, никогда не мог уверить вполне, что сам горячо люблю Григорья Иваныча, что только в семействе и в деревне развлекся я разными любимыми предметами и новою, еще неиспытанною мною, охотою с ружьем, но что в городе я об одном только и думаю, как бы заслужить любовь и одобрение моего воспитателя, и что одно его ласковое слово делает меня вполне счастливым.

Подрастала и удивительно хорошела моя милая сестра, мой сердечный друг. Она уже не могла разделять моих деревенских забав и охот, не могла быть так часто со мною вместе; но она видела, как я веселился, и сносила это лишение терпеливо, зато роптала на мое учение и, вероятно, потому неблагосклонно смотрела на моего учителя.

10 августа выехали мы из Аксакова и 15-го без всяких приключений благополучно приехали в Казань. К удивлению моему, Григорий Иваныч в тот же день запретил мне ходить в классы в гимназию, а назначил разные заня-

тия и упражнения дома. Сам же он всякий день, поутру, уезжал в гимназический совет, в котором был ученым секретарем, и оставался там очень подолгу. Наконец, дней через пять он сказал мне, что ученье в классах идет очень вяло, что многие еще не съехались, что время стоит чудесное и что мы поедем к Ивану Ипатычу в Кощаково, чтоб еще с недельку на свободе погулять и поучиться. Я удивился еще более, но был очень доволен. Мы прожили в Кощакове не недельку, а с лишком две; Григорий Иванович несколько раз уезжал в город; уезжал рано поутру и возвращался к позднему обеду. Я не обращал на это внимания. Когда мы переехали в Казань, на другой же день Григорий Иванович приказал мне ходить в классы. Я очень весело побежал в гимназию, но товарищи встретили меня с невеселыми лицами и сообщили мне следующее печальное происшествие.

Предварительно надобно сказать, что директор гимназии Лихачев был очень плохим директором и, сверх того, имел карикатурную наружность, не внушавшую расположения;

между прочим, нижняя его губа была так велика, как будто ее разнесло от укушения благой мухи или осы. Ни чиновники, ни воспитанники не уважали его, и еще до отъезда моего на последнюю вакацию, во время обеда, когда директор ходил по столовой зале, он был публично осмеян учениками, раздраженными за дурную кашу, в которой кто-то нашел кусок свечного сала. В ту же ночь на многих стенах внутри гимназии, на стенах наружных, даже на куполе здания, явились ругательные надписи директору, мастерски начерченные красным карандашом крупными печатными буквами. Надписи были помещены так высоко, что их нельзя было написать без помощи лестницы, а надпись на куполе была признана чудом смелости и ловкости; ни тогда, ни после виноватых не открыли. Я и теперь не знаю, кто это сделал. За несколько дней до возвращения моего с Григорьем Ивановичем из Аксакова, когда в гимназии собрались уже почти все ученики, какой-то отставной военный чиновник, не знаю почему называвшийся квартирмейстром, имевший под своею командой всех инвалидов, служивших

при гимназии, прогневался на одного из них и стал его жестоко наказывать палками на заднем дворе, который отделялся забором от переднего и чистого двора, где позволялось играть и гулять в свободное время всем воспитанникам. Это случилось после обеда, когда именно все воспитанники гуляли. Вопль бедного инвалида возбудил такую жалость в молодых сердцах, что несколько учеников старшего класса, и в том числе Александр Княжевич, нарушили запрещение, прошли в калитку на задний двор и начали громко требовать, чтоб квартирмейстер перестал наказывать виноватого. Квартирмейстер очень рассердился за нарушение своей власти, принялся кричать и ругать воспитанников площадными словами, а как Александр Княжевич, по необыкновенной доброте своего сердца горячившийся более всех, был впереди других, то все ругательства прямо и непосредственно были обращены на него. Услышав крик и брань, весь высший класс, а за ним и другие явились на заднем дворе. Старший Княжевич, Дмитрий, узнав голос брата, нежно им любимого, прибежал первый; будучи от при-

роды пылкого нрава, он горячо вступился за оскорбленного брата; воспитанники пристали к нему единодушно; разумеется, не было недостатка в энергических выражениях и угрозах; квартирмейстер нашелся принужденным прекратить свою расправу и поспешно ретироваться. Такое ничего незначущее обстоятельство, в основании которого лежало прекрасное чувство сострадания, а потом справедливое негодование за грубое и дерзкое оскорбление, имело весьма печальные последствия единственно потому, что было не понято директором и дурно ведено. Сначала письменная и покорная просьба воспитанников высшего класса состояла в том, чтобы жестокий и грубый квартирмейстер был отставлен; но директор отказал в ней, обвинил одних учеников и даже подверг некоторых какому-то наказанию. Разумеется, такая несправедливость раздражила юношей; отвергнутая почтительная просьба превратилась в настоятельное требование и уклонение от заведенного порядка. Высший класс воспитанников перестал учиться; они говорили, что до тех пор не будут ходить в классы, покуда не уда-

лят из гимназии ненавистного квартирмейстера. Вскоре средний и даже нижний класс присоединились к старшему, а как вся история поднялась преимущественно за оскорбление одного из лучших учеников, Александра Княжевича, то естественно, что его брат, первый во всех отношениях воспитанник, очень любимый товарищами, сделался, так сказать, главою этого движения. Директор струсил, не смел показаться ученикам и даже каким-то задним ходом, через квартиру Яковкина, проходил в гимназический совет, или конференцию; он посылал уговаривать воспитанников, но переговоры оказались бесполезными. Нет сомнения, что если бы добрый, любимый и уважаемый Василий Петрович Упадышевский служил тогда главным надзирателем, то все это несчастное происшествие прекратилось бы в самом начале; но за несколько недель он оставил гимназию по болезни, и должность его исправлял человек ничтожный. Дело тянулось, в одном и том же нерешительном положении, дни три. Наконец гимназисты, узнав, что директор сидит в совете, захватив предварительно другой выход,

привалили толпою к парадным дверям конференции и громогласно требовали исключения из службы квартермистра. Директор хотел уехать, но, получив известие, что путь к побегу отрезан и что у заднего выхода также его ожидают гимназисты, — так перепугался и растерялся, что немедленно приказал составить определение об увольнении виноватого квартермистра. Определение было прочитано воспитанникам; сейчас все успокоились, поблагодарили начальство и возвратились к полному повиновению. Гимназия пришла в обыкновенный порядок, и учебная жизнь потекла своей обычной колеей. Сначала думали, что это происшествие не будет иметь никаких дальнейших последствий, но очень ошиблись. Директор немедленно донес высшему начальству о происшедшем и, по чьему-то совету войдя в сношения с губернатором, принял следующие меры: через несколько дней, во время обеда, вдруг вошли в залу солдаты с ружьями и штыками; вслед за ними появился губернатор и директор. Последний вызвал по именам шестнадцать человек из высшего класса, в том числе, разумеется,

старшего Княжевича, и под прикрытием вооруженных солдат приказал отвести их в карцер. Все остальные были поражены ужасом, и мертвая тишина царствовала в зале. У всех наружных дверей гимназии было поставлено по два солдата с ружьями и штыками; у дверей карцера стояло четверо. — Через две недели после этого печального события пришел я в первый раз по возвращении с вакации, или, правильнее сказать, из Кощакова, в свой высший осиротевший класс, где и встретили меня сейчас рассказанною мною повестью. Тут сделалось мне понятно, отчего разумный мой наставник сначала не позволил мне ходить в классы, а потом увез меня в деревню. Без всякого сомнения, я был бы одним из самых горячих участников в этом несчастном происшествии. — Через полтора месяца было получено решение высшего начальства. Опять явился в столовую залу губернатор, директор и весь совет, прочли бумагу, в которой была объяснена вина возмутившихся воспитанников и сказано, что в пример другим восемь человек из высшего класса, признанных главными зачинщиками, Дмитрий Княже-

вич, Петр Алехин, Пахомов, Сыромятников и Крылов (остальных не помню) исключаются из гимназии без аттестации в поведении. Исключены были самые лучшие ученики. Дмитрий Княжевич и Алехин считались красотою, славой гимназии. По исполнении приговора, которым все были глубоко поражены и опечалены, вывели солдатские караулы из гимназии и сняли осадное положение, которым мы очень оскорблялись.

Лихачев был вскоре уволен, и вместо него определен директором старший учитель И. Ф. Яковкин. Дмитрий Княжевич сохранил надолго близкую связь с своими гимназическими товарищами. Он определился на службу в Петербурге и каждую почту писал к брату, обращаясь нередко ко всем нам. Его письма читали торжественно, во всеуслышанье.

Приунывшее и приутихшее юное народонаселение гимназии мало-помалу успокоилось, стало забывать печальное событие, опять зашумело, запело, запрыгало, захохотало, — и жизнь понеслась вперед, как будто ничего не бывало.

До половины зимы мирно текли мои

классные и домашние упражнения под неослабным надзором и руководством Григорья Иваныча; но в это время приехал в Казань мой родной дядя, А. Н. Зубов; он свозил меня два раза в театр, разумеется, с позволения моего воспитателя: в оперу «Песнолюбие» и в комедию «Братом проданная сестра». Эти два спектакля произвели на меня почти такое же впечатление, как и ружейная охота. Я питал особенное пристрастие к театральным сочинениям и по рассказам составил себе кое-какое понятие об их сценическом исполнении. Но действительность далеко превзошла мои предположения. Я грезил виденными мною спектаклями и день и ночь, и так рассеялся, что совершенно не мог заниматься ученьем. Разумеется, Григорий Иваныч сейчас это увидел и, допросив меня, узнал настоящую причину. Нахмурился и вновь огорчился мой рассудительный наставник, и вновь должен был я выслушать длинное поучение. Но на этот раз я сейчас почувствовал справедливость упреков Григорья Иваныча и понял вредные следствия моей склонности к безмерному влечению. С большим усилием я по-

бедил в себе вспыхнувшую страсть к театру, зерно которой давно во мне хранилось и высказывалось в моей охоте к декламации и к драматическим пьесам, русским и французским; я успокоился и с необыкновенным жаром принялся за ученье. Григорий Иваныч был очень доволен. Через неделю он сам стал разговаривать со мною о театре и сценическом искусстве, дал об нем настоящее понятие и рассказал мне о многих славных актерах, живых и мертвых, иностранных и русских. Между прочим упомянул и о московских актерах, Шушерине и Плавильщикове. Дни три продолжались у нас такие приятные для меня разговоры, в часы отдохновения от серьезных занятий. Вдруг в один счастливый день, когда я, воротясь из гимназии, пил свой вечерний чай, Григорий Иваныч отворил ко мне дверь и весело сказал: «Оканчивайте поскорее ваше молочное питье.[25]

Вы должны сейчас ехать со мною». Я был готов в одну минуту. Мы сели в сани и поехали. Я был уверен, что мы едем к Г. К. Воскресенскому, к которому Григорий Иваныч из-

редка ездил со мною и которого сын был моим товарищем в гимназии. На повороте Григорий Иваныч приказал кучеру ехать прямо по Грузинской улице: это было не по дороге к Воскресенскому. Я удивился. Через несколько минут, когда мы поравнялись с театром, он сказал: «К театральному подъезду». Кучер подъехал. Григорий Иваныч выскочил из саней, а я, обомлевши от радостной надежды, сидел неподвижно. Григорий Иваныч не мог удержаться от смеха и спросил меня: «Что же? не хотите в театр?» Я выпрыгнул как безумный. Билеты были взяты заранее; мы вошли в кресла и сели вместе в первом ряду. Давали оперу «Колбасники». Боже мой! Как я был счастлив! До сих пор вижу перед собой актера Михайла Калмыкова в главной роли старого колбасника; до сих пор слышу, как актер Прытков поет с гитарой, то есть разевает рот, а за кулисами пела вместо него актриса Марфуша Аникиева:

*Предмет драгоценный
Души распаленной,
Услыши, что пленный
Гласит к злой судьбе...*

А вот уже с лишком пятьдесят лет прошло, как я видел этот спектакль, и с тех пор даже не слыхивал об опере «Колбасники». Воротясь домой, я от души поблагодарил моего наставника и с удовольствием услышал от него, что сегодняшней спектакль был награждением за мое благоразумие и что если «Колбасники» не развлекут меня, то от времени до времени мы будем ездить в театр. По правде сказать, «Колбасники» очень занимали и даже развлекали меня, но я всеми силами старался скрывать свое впечатление и, с помощью свежей необыкновенной памяти, я так хорошо продолжал свое ученье, что Григорий Иванович ничего не мог заметить. В непродолжительном времени я увидел на театре «Недоросля», «Ошибки, или Утро вечера мудренее», оперу «Нина, или Сумасшедшая от любви» и драму Коцебу «Граф Вальтрон». С каждым днем росла и крепла во мне любовь к театру. Я выучил наизусть виденные мною на сцене пьесы и находил время, незаметно для моего воспитателя, разыгрывать перед самим собою все роли в вышесказанных пьесах, для чего запирался в своей комнате или уходил в пустые,

холодные антресоли.

В эту же зиму 1804 года начал я сближаться с одним своекоштным учеником Александром Панаевым. Он также был охотник до театра и до русской словесности. Будучи обожателем Карамзина, он писал идиллическою прозой, стараясь уловить гладкость и цветистость языка, созданного Карамзиным. Брат его Иван был лирический стихотворец. Александр Панаев издавал тогда письменный журнал под названием «Аркадские пастушки», которого несколько номеров и теперь у меня хранятся. Все сочинители подписывались какими-нибудь пастушескими именами, например: Адонис, Дафнис, Аминт, Ирис, Дамон, Палемон и проч. Александр Панаев был каллиграф и рисовальщик, а потому сам переписывал и сам рисовал картинки к каждому номеру своего журнала, выходившему ежемесячно. Поистине, это было двойное детство: нашей литературы и нашего возраста. Но замечательно, что направление и журнальные приемы были точно такие же, какие держались потом в России несколько десятков лет. Названия пьес и некоторые стихо-

творные и прозаические отрывки я помещаю в особом приложении.

Благодаря стараниям моего наставника я до того времени еще не был сочинителем, а потому и не участвовал в составлении журнала. Но, к сожалению, пример был очень увлекателен, и я начал потихоньку пописывать, храня тайну даже от друга моего Панаева. Через год я уже издавал с ним журнал, о чем будет рассказано в своем месте. В эту же зиму составилась в гимназии благородный спектакль. Два раза играли какую-то скучную, нравоучительную пиесу, название которой я забыл, и при ней маленькую комедию Сумарокова «Приданое обманом». В спектакле я был только зрителем: во-первых, потому, что много было охотников постарше меня, а во-вторых, потому, что я не смел и заикнуться об этом Григорию Иванычу, — и напрасно, как это покажет следующий год, в котором назначено было развернуться моей театральной и литературной гимназической деятельностью.

Уже около года носились слухи, что в Казани будет основан университет. Слухи стали подтверждаться, и в декабре 1804 года полу-

чили официальное известие, что устав университета 5 ноября подписан государем. Попечителем был назначен действительный статский советник Степан Яковлевич Румовский, который и приехал в Казань. Это событие взволновало весь город, еще более гимназию и преимущественно старший класс. Конференция собиралась каждый день; в ней председательствовал Румовский и заседали приехавшие с ним два профессора, Герман и Цеплин, директор гимназии Яковкин и все старшие учителя. Что происходило там — я и товарищи ничего не знали. Вдруг в один вечер собралось к Григорью Иванычу много гостей: двое новых приезжих профессоров, правитель канцелярии попечителя Петр Иваныч Соколов и все старшие учителя гимназии, кроме Яковкина; собрались довольно поздно, так что я ложился уже спать; гости были веселы и шумны; я долго не мог заснуть и слышал все их громкие разговоры и взаимные поздравления: дело шло о новом университете и о назначении в адъюнкты и профессоры гимназических учителей. На другой день Евсеич сказал мне, что гости просидели до трех

часов, что выпили очень много пуншу и вина и что многие уехали очень навеселе. Он прибавил, что и «наш (так он называл Григорья Иваныча) принужден был много пить, но что он не был хмелен ни в одном глазе». У нас в доме никакой пирушки никогда не бывало, и мы с Евсеичем очень дивились такой новости, хотя причина была теперь очевидна: Евсеич сам вслушался, да и я рассказал ему, что Григорий Иваныч был назначен адъюнкт-профессором в новом университете вместе с Иваном Ипатычем, Левицким и Эрихом. Из разговоров их я также узнал, что Яковкин был прямо сделан ординарным профессором русской истории и назначался инспектором студентов, о чем все говорили с негодованием, считая такое быстрое возвышение Яковкина незаслуженным по ограниченности его ученых познаний. Я вслушался также, что, говоря о студентах, Григорий Иваныч громко сказал: «За своего Телемака, господа, я ручаюсь». Я догадался, что и меня хотят сделать студентом, чего я никак не мог надеяться, потому что еще не дослушал курса в высших классах и ничего не знал в матема-

тике. На другой день поутру Григорий Иванович еще спал, когда я уехал в гимназию. Я спешил сообщить новость своим товарищам, но там уже все знали через сына Яковкина, который был страшный толстяк, весьма ограниченных способностей. Он хвастался, что и его сделают студентом, над чем все смеялись. Лучшие ученики в высшем классе, слушавшие курс уже во второй раз, конечно, надеялись, что они будут произведены в студенты; но обо мне и некоторых других никто и не думал. В тот же день сделался известен список назначаемых в студенты; из него узнали мы, что все ученики старшего класса, за исключением двух или трех, поступят в университет; между ними находились Яковкин и я. В строгом смысле человек с десять, разумеется в том числе и я, не стоили этого назначения по неимению достаточных знаний и по молодости; не говорю уже о том, что никто не знал по-латыни и весьма немногие знали немецкий язык, а с будущей осени надобно было слушать некоторые лекции на латинском и немецком языках. Но тем не менее, шумная радость одушевляла всех. Все обнимались, по-

здравляли друг друга и давали обещание с неутомимым рвением заняться тем, чего нам не доставало, так чтобы через несколько месяцев нам не стыдно было называться настоящими студентами. Сейчас был устроен латинский класс, и большая часть будущих студентов принялась за латынь. Я не последовал этому похвальному примеру по какому-то глупому предубеждению к латинскому языку. До сих пор не понимаю, отчего Григорий Иванович, будучи сам сильным латинистом, позволил мне не учиться по-латыни.

Нельзя без удовольствия и без уважения вспомнить, какую любовью к просвещению, к наукам было одушевлено тогда старшее юношество гимназии. Занимались не только днем, но и по ночам. Все похудели, все переменились в лице, и начальство принуждено было принять деятельные меры для охлаждения такого рвения. Дежурный надзиратель всю ночь ходил по спальням, тушил свечи и запрещал говорить, потому что и впотьмах повторяли наизусть друг другу ответы в пройденных предметах. Учителя были также подвигнуты таким горячим рвением учеников

и занимались с ними не только в классах, но во всякое свободное время, по всем праздничным дням. Григорий Иванович читал для лучших математических студентов прикладную математику; его примеру последовали и другие учителя. Так продолжалось и в первый год после открытия университета. Прекрасное, золотое время! Время чистой любви к знанию, время благородного увлечения! Я могу беспристрастно говорить о нем, потому что не участвовал в этом высоком стремлении, которое одушевляло преимущественно казенных воспитанников и пансионеров: своекоштные как-то мало принимали в этом участия, и мое учение шло своей обычной чередой под руководством моего воспитателя. Вероятно, он считал, что я не имел призвания быть ученым, и, вероятно, ошибался. Он судил по тому страстному увлечению, которое обнаруживалось во мне к словесности и к театру. Но мне кажется, что натуральная история точно так же бы увлекла меня и, может быть, я сделал бы что-нибудь полезное на этом поприще. Впрочем, родители мои никогда не назначали меня к ученому званию, да-

же имели к нему предубеждение, и согласно их воле Григорий Иваныч давал направление моему воспитанию. — Конечно университет наш был скороспелка, потому что через полтора месяца, то есть 14 февраля 1805 года, его открыли. Преподавателей было всего шестеро: два профессора: Яковкин и Цеплин, и четыре адъюнкта: Карташевский, Запольский, Левицкий и Эрих.

[Вот список студентов, открывавших университет; кажется, я забыл двух или трех:

Казенные студенты и пансионеры:

*Василий Перевощиков.
Дмитрий Перевощиков.
Василий Кузминский.
Александр Княжевич.
Петр Балясников.
Петр Кондырев.
Александр Петров.
Фомин.
Ляпунов. Имен не помню.
Николай Трухин.
Николай Кинтер.
Петр Зыков.*

*Василий Тимьянский.
Чеснов.
Михайла Пестяков.
Михайла Попов.
Василий Чуфаров.
Кайсаров.
Яковкин.
Риттау.
Владимир Графф.
Выдряцкий.
Андреев.
Шоник.
Николай Упадышевский (стар.).*

Своекоштные студенты:

*Николай Панаев.
Иван Панаев.
Александр Панаев.
Александр Дмитриев.
Сергей Аксаков.
Порфирий Безобразов.
Еварест Грубер.]*

В 1805 году письма Дмитрия Княжевича, всегда получаемые и выслушиваемые с живым участием, приобрели особенный политический интерес. Тогда шла первая война с Наполеоном. Не знаю, почему известия о воен-

ных событиях как-то трудно и поздно до нас доходили. Княжевич же сообщал их нам скоро и подробно. Сверх того, письма его были проникнуты горячей любовью к славе русского оружия, а потому действовали на всех нас электрически. Бывало, только крикнет Александр Княжевич: «Письмо от брата!», как все мы сейчас окружали его дружною и тесною толпою; лежа друг у друга на плечах, в глубокой тишине, прерываемой иногда восторженными восклицаниями, жадно слушали мы громогласное чтение письма; даже гимназисты прибежали к нам и участвовали в слушании этих писем. Знаменитый Багратион был нашим любимцем, и когда мы слышали, что он, оставленный на жертву неприятелю, пробился с своим отрядом сквозь целую армию французов, — такое грянуло ура, такой был общий единокдушный восторг, что я и описать не умею. Много было жизни в поре нашей юности, и отрадно вспоминать о ней.

Воспитанникам, назначенным в студенты, не произвели обыкновенных экзаменов, ни гимназических, ни университетских, а, напротив, все это время употребили на продол-

жение ученья, приготовительного для слушанья университетских лекций; не знаю, почему Григорий Иваныч, за несколько дней до акта, отправил меня на вакацию, и мы с Евсичем уехали в Старое Аксаково, Симбирской губернии, где тогда жило все мое семейство. Какая была причина этого перемещения из Нового, Оренбургского Аксакова — также не знаю, но оно было мне очень досадно; в Старом безводном Аксакове не было никакого уженья, да и стрельбы очень мало; правда, дичи лесной водилось там много, можно было найти и бекасов и дупелей, но эта трудная охота была мне еще недоступна. Зная все это наперед, я запасся театральными пиесами, чтобы дома на свободе прочесть их и даже разыграть перед глазами моего семейства, что и было потом исполнено мною с большим успехом и наслаждением. — Отец и мать очень обрадовались моему назначению в студенты, даже с трудом ему верили, и очень жалели, что Григорий Иваныч не оставил меня до акта, на котором было предположено провозгласить торжественно имена студентов и раздать им шпаги. Боже мой, как обрадова-

лась мне моя милая сестра! С каким наслаждением слушала она мое чтение, или, лучше сказать, разыгрыванье трагедий, комедий и даже опер, в которых я отвечал один за всех актеров и актрис: картавил, гнусил, пищал, басил и пел на все голоса, даже иногда костюмировался с помощью всякой домашней рухляди. Кроме того, зная, что с половины августа я начну слушать лекции натуральной истории у профессора Фукса, только что приехавшего в Казань, я решил заранее, что буду собирать бабочек, и в эту вакацию, с помощью моей сестры, сделал уже приступ к тому; но, увы, не умея раскладывать и высушивать бабочек, я погубил понапрасну множество этих прелестных творений. В продолжение вакации мы два раза ездили в Чуфарово к Надежде Ивановне Куроедовой и гостили там по целой неделе. От Старого Аксакова до Чуфарова всего было верст сорок или пятьдесят. Надежда Ивановна была очень довольна, что я сделан студентом; с гордостью рассказывала о том всякому гостю, наряжала меня в мундир и очень жалела, что у меня не было шпаги; даже подарила мне на книги десять руб-

лей ассигнациями. Узнав как-то нечаянно о моем театральном искусстве, о котором прямо доложить ей не смели, ибо опасались, что оно может ей не понравиться, — она заставила меня читать, представлять и петь и, к моей великой радости, осталась очень довольною и много хохотала. Она никогда не видывала театра, и, по своей живой, веселой и понимающей природе, она почувствовала неизвестное ей до тех пор удовольствие. Особенно ей понравилось мое обыкновенное чтение. Иногда от скуки, преимущественно по зимам, устав играть в карты, петь песни и тогдашние романсы, устав слушать сплетни и пересуды, она заставляла себе читать вслух современные романы и повести, но всегда была недовольна чтецами; одна только мать моя несколько ей угождала. Послушав же меня, она сказала: «Вот как надо читать», и с тех пор, несмотря на летнее время, которое она обыкновенно проводила в своем чудесном саду, Надежда Ивановна каждый день заставляла меня читать часа по два и более. Иногда являлся на сцену «Мельник» Аблесимова и «Сбитенщик» Княжнина, — и как добродуш-

но, звонко смеялась она, глядя, как молоденький мальчик представляет старика мельника и сбитенщика. Я приобрел полное благоволение Надежды Ивановны, чему очень радовались в моем семействе, потому, что мысль о будущем богатстве, которым она некогда обещала наделить нас, не могла быть совершенно чуждою человеческим соображениям и расчетам. При моем отъезде я получил милое приказание от Надежды Ивановны писать к ней каждый месяц два раза, что было в точности и исполняемо мною до самой ее кончины.

УНИВЕРСИТЕТ

Я благополучно воротился в Казань и очень обрадовался, увидев Григорья Иваныча. Он встретил меня ласково. Первым моим делом было достать мою студентскую шпагу, которая до моего прибытия хранилась в кладовой у дежурного надзирателя. Мы с Александром Панаевым, прицепив свои шпаги, целое воскресенье бегали по всем городским улицам, и как тогда это была новость, то мы имели удовольствие обращать на себя общее внимание и любопытство. Более просвещенное лакейство, сидя и любезничая с горничными у ворот господских домов, нередко острило на наш счет, говоря: «Ой, студено — студенты идут». — В гимназии шли большие хлопоты о назначении студентам особых комнат, отдельно от гимназистов, помещавшихся в том же здании гимназии, об устройстве студентам особенного стола в другой небольшой зале и об открытии новых университетских лекций. Наконец, в исходе августа все было улажено, и лекции открылись в следующем порядке: Григорий Иваныч читал чистую,

высшую математику; Иван Ипатыч — прикладную математику и опытную физику; Левицкий — логику и философию; Яковкин — русскую историю, географию и статистику; профессор Цеплин — всеобщую историю; профессор Фукс — натуральную историю; профессор Герман — латинскую литературу и древности; Эрих — латинскую и греческую словесность и приехавший адъюнкт Эвест — химию и анатомию. Был еще какой-то толстый профессор, Бюнеман, который читал право естественное, политическое и народное на французском языке; лекций Бюнемана я решительно не помню, хотя и слушал его. Вот в каком смешении факультетов и младенческом составе открылся наш университет. Яковкин, как инспектор студентов и директор гимназии, соединял в своем лице звание и власть ректора; под его председательством совет Казанской гимназии, в котором присутствовали все профессора и адъюнкты, управлял университетом и гимназией по части учебной и образовательной. Хозяйственной же частью заведовала контора гимназии, также под председательством Яковкина; один из уни-

верситетских преподавателей находился в ней постоянным членом. Яковкин, для соблюдения благочиния, с позволения попечителя, назначал камерных студентов и делал другие необходимые распоряжения. Многие воспитанники, в том числе и я, не выслушавшие полного гимназического курса, продолжали учиться в некоторых высших классах гимназии, слушая в то же время университетские лекции. Я был этому очень рад, потому что мне было бы больно расстаться с Ибрагимовым. Этот человек так искренно меня любил, так охотно занимался со мною, что время, проведенное в его классах, осталось одним из приятных воспоминаний моей юности. Я должен признаться, что Ибрагимов слишком мною занимался в сравнении с другими воспитанниками и что мое самолюбие, подстрекаемое и удовлетворяемое его отзывами перед целым классом, играло в этом деле не последнюю роль. Итак, очевидно, что переход из гимназии в университет был вообще для всех мало заметен, особенно для меня и для студентов, продолжавших ходить в некоторые гимназические классы.

С открытия университета дружба моя с Александром Панаевым, также произведенным в студенты, росла не по дням, а по часам, и скоро мы сделались такими друзьями, какими могут быть люди в годах первой молодости; впрочем, Александр Панаев был старше меня тремя годами, следовательно восемнадцатилет. Григорий Иваныч одобрял нашу дружбу. Кроме любви к литературе и к театру, которая соединяла меня с Александром Панаевым, скоро открылась новая общая склонность: натуральная история и собирание бабочек; эта склонность развилась, впрочем, вполне следующей весной. Настоящая же зима исключительно обратила нас к театру, потому что неожиданно на публичной сцене явился московский актер Плавильщиков. Его приезд имел важное для меня значение. Григорий Иваныч, говоривший мне и прежде о Плавильщиковете, не только заранее позволил мне быть в театре всякий раз, когда Плавильщиков играл, но даже был очень доволен, что я увижу настоящего артиста и услышу правильное, естественное, мастерское чтение,

которым по справедливости славился Плавильщиков. Ходить часто в партер или кресла студенты были не в состоянии: место в партере стоило рубль, а кресло два рубля пятьдесят копеек ассигнациями, а потому мы постоянно ходили в раек, платя за вход двадцать пять копеек медью. Но раек представлял для нас важное неудобство; спектакли начинались в 6S часов, а класс и лекции оканчивались в 6; следовательно, оставалось только время добежать до театра и поместиться уже на задних лавках в райке, с которых ничего не было видно, ибо передние занимались зрителями задолго до представления. Для отвращения такого неудобства употреблялись следующие меры: двое из студентов, а иногда и трое, покрупнее и посильнее часов в пять и ранее отправлялись в театр, занимали по краям порожнюю лавку и не пускали на нее никого. Сначала это не обходилось без ссор, но потом посетители райка привыкли к такому порядку, и дело обходилось мирно. Мы приходили обыкновенно перед самым поднятием занавеса и садились на приготовленные места. Сначала передовые студенты

уходили из классов потихоньку, но впоследствии многие профессора и учителя, зная причину, смотрели сквозь пальцы на исчезновение некоторых из своих слушателей, а достолюбезный Ибрагимов нередко говаривал: «А что, господа, не пора ли в театр?», даже оканчивал иногда ранее получасом свой класс. Доставанье афиш возлагалось на своекоштных студентов. Печатных афиш тогда в городе не было; некоторые почетные лица получали афиши письменные из конторы театра, а город узнавал о названии пьесы и именах действующих лиц и актеров из объявления, прибываемого четыремя гвоздиками к колонне или к стене главного театрального подъезда. Я должен признаться, что мы воровали афиши. Подъедешь, бывало, к театральному крыльцу, начнешь читать афишу и, выждав время, когда кругом никого нет, сорвешь объявление, спрячешь в карман и отправляешься с добычею в университет. Впоследствии содержатель театра Есипов, узнав студентские проделки, дал позволение студентам получать афишу в конторе театра.

Игра Плавильщикова открыла мне новый

мир в театральном искусстве. Я не мог тогда, особенно сначала, видеть недостатков Плавильщикова и равно восхищался им и в трагедиях, и в комедиях, и в драмах; но как он прожил в Казани довольно долго, поставил на сцену много новых пьес, между прочим комедию свою «Бобыль», имевшую большой успех, и даже свою трагедию «Ермак», не имевшую никакого достоинства[26] и успеха, и сыграл некоторые роли по два и по три раза, — то мы взгляделись в его игру и почувствовали, что он гораздо выше в «Боте», чем в «Дмитрии Самозванце», в «Досажаеве», чем в «Магомете», в «Отце семейства», чем в «Рославе». Торжеством в искусстве чтения были у Плавильщикова роли Тита в «Титовом милосердии» и особенно пастора в «Сыне любви». Исполнение этой последней роли привело меня в совершенное изумление. Пастора играл в Казани преплохой актер Максим Гуляев, и это лицо в пьесе казалось мне и всей публике нестерпимо скучным, так что длинный монолог, который он читает барону Нейгофу, был сокращен в несколько строк по общему желанию зрителей. Плавильщиков восстановил во

всей полноте это лицо и убил им все остальные. И в самом деле, он играл роль пастора превосходно. Плавильщиков же поставил в Казани «Эдипа в Афинах». Стихи Озерова были тогда пленительной новостью; они увлекали всех, и игра Плавильщикова в роли Эдипа произвела общий восторг.[27]

Яркий свет сценической истины, простоты, естественности тогда впервые озарил мою голову. Я почувствовал все пороки моей декламации и с жаром принялся за переработку моего чтения. Нечто подобное говорил мне прежде и требовал от меня мой воспитатель, но я плохо понимал его. Как же скоро я услышал Плавильщикова в лучших его ролях, я понял в одно мгновение, чего хотел в моем чтении Григорий Иваныч. Вот как пример уясняет понятия гораздо лучше всяких толкований. Тогда, под руководством Григория Иваныча, я горячо взялся за грудную работу и через две недели прочел другу моему Александру Панаеву известный длинный монолог из роли пастора. Панаев до того был удивлен, что ничего не мог произнести, кро-

ме слов: «Ты Плавильщиков... ты лучше Плавильщикова!» В тот же день Александр Панаев явился в университет прежде меня и успел рассказать всем о новом своем открытии. Когда же я пришел на лекции, студенты окружили меня дружною толпою и заставили прочесть монолог пастора и те места из разных пьес, которые я знал наизусть. Хотя не называли меня Плавильщиковым, но все очень хвалили, и у старших студентов сейчас родилась мысль затеять университетские спектакли. Начальство не вдруг на это согласилось, а потому мы с Александром Панаевым, сострепав какую-то драму, разыграли ее, с помощью его братьев, в общей их квартире, довольно большом каменном доме, принадлежавшем дяде их Страхову. Я не помню названия и содержания этой пьесы, разумеется нелепо-детской, но помню, что играл в ней две роли: какого-то пустынного старика — в первых двух действиях, и какого-то атамана разбойников — в третьем, причем был убит из пистолета. В роли старика я отличился. — Дозволение устроить театр с авансценою и декорациями в одной из университетских зал долго не

приходило от попечителя, который жил в Петербурге, а потому мы выпросили позволение у директора Яковкина составить домашний спектакль без устройства возвышенной сцены и без декораций, в одной из спальных комнат казенных студентов. Сколько приятной суматохи и возни было по этому случаю! Сшили занавес из простынь и перегородили им большую и длинную комнату, кроватями отделили место для сцены и классными подсвечниками осветили ее. Мы сыграли комедию «Так и должно» Веревкина и маленькую пьесу «Приданое обманом» Сумарокова. В первой пьесе я играл роль старого Доблестина, а молодого Доблестина — Александр Панав. Афросинью Сысоевну играл студент Дмитрий Перевощикова, лакея Угара — Петр Балясников, судью — В. Кузминский, с приписью подьячего — Петр Зыков, который привел всех зрителей в неописанный восторг своим комическим талантом. Не помню, кто играл какую-то молодую женскую роль, — кажется, Александр Княжевич. Костюмы были уморительные: например, старый Доблестин явился в солдатском изорванном сюртуке одного из

наших сторожей-инвалидов; на голове имел парик из пакли, напудренный мелом, а на руках цепи с цепной дворовой собаки, которая на этот вечер получила свободу и кого-то больно укусила. Д. Перевощиков, по своему немоложавому и бледному лицу и несколько сиплому голосу, был очень хорош в роли старухи, и это амплуа навсегда за ним осталось. Я, с моей собачьей цепью, произвел сильный эффект и был провозглашен большим талантом и актером, а равно и П. Зыков. Но, увы, друг мой Александр Панаев, несмотря на прекрасную наружность, очень не понравился всем в роли молодого Доблестина. В самом деле, он имел какой-то плаксивый и холодный тон; много ему вредило также произношение на о, от которого он не мог отвыкнуть. Это был мой первый публичный театральный успех, потому что спектакль у Панаевых происходил секретно и зрителей было очень мало; но здесь находилось университетское и гимназическое начальство, профессора, учителя и даже их жены и дочери, не говоря уже о студентах и гимназистах, которых набилось столько, сколько могло поместиться. — Вско-

ре получили позволение от попечителя: устроить театр для казенных студентов «в награду за их отличное прилежание». Инспектору было, однако, предписано наблюдать за выбором пьес, а равно и за тем, чтобы это «благородное удовольствие не отвлекало от занятий учебных». Мы все были в восторге. Сцену и кулисы, которые удобно и скоро снимались, построили на казенный счет, но студенты сами писали декорации и тем значительно сократили расходы. Сначала театр хотели поместить в одной из зал; но это оказалось неудобным по ее величине и показалось дорого начальству, и потому для театра выбрали одну классную комнату, которая представляла большое удобство тем, что разделялась посредине нишею. Прежде это были две комнаты, но за несколько лет выломали разделявшую их стену и для поддержания потолка оставили нишу, подпертую по бокам двумя колоннами; для устройства сцены это было чрезвычайно удобно. Впрочем, не дождав-шись окончательно постановки театра, мы сыграли в вышеупомянутой мною зале комедию Коцебу «Ненависть к людям и раская-

ние». Я отличился а роли Неизвестного, и слава моя установилась прочно. По общему согласию, сочинили театральный устав, который утвердили подписями всех участвующих в театральных представлениях, и выбрали меня, несмотря на мою молодость, директором труппы, но, увы, ненадолго: едва успели мы сыграть комедию того же Коцебу «Брюзгливый» и маленькую пиеску «Новый век», в которых я также отличился, как стечение несчастных обстоятельств на целый год удалило меня со сцены. Надобно рассказать несколько подробнее это героико-комическое происшествие. — После «Брюзгливого» затеяли мы сыграть драму «Мейнау, или Следствие примирения», написанную каким-то немцем для выражения своего мнения, что примирение Мейнау с преступной женой, чем оканчивается комедия Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», — не может восстановить их семейного счастья. В этой пиесе есть маленькая роль генерала, бывшего некогда оболъстителем Эйлалии; он встречается нечаянно с Мейнау и его женой, Эйлалия падает в обморок, а муж вызывает генерала на дуэль и убивает

его из пистолета. Александр Панаев, так неудачно сыгравший молодого Доблестина, мало участвовал в театральных представлениях, оставаясь, однако, в числе актеров; но когда он узнал, что мы намерены разыграть «Мейнау», то упросил меня дать ему роль генерала. Он сознавался, что у него нет сценического таланта, но желал сыграть эту роль по особенным причинам. Причина была мне известна: он был неравнодушен к одной девице, постоянной посетительнице наших спектаклей, и ему хотелось явиться перед ней на сцене в генеральском мундире с большими эполетами и пасть в ее глазах от роковой пули. Я знал, что товарищи будут недовольны моим распоряжением и что на эту роль метил другой актер — Петр Балясников, по своему характеру и дарованиям имевший сильное влияние на студентов, который, без всякого сравнения, сыграл бы эту роль гораздо лучше. Но дружба заставила меня покривить душой, и я отдал роль генерала Александру Панаеву, на что, как директор, я имел полное право.[28]

Товарищи сейчас сказали мне, что Панаев испортит пиесу, но я отвечал, что эта роль маленькая и пустая, что Панаев мне ее читал очень хорошо, что я беру на себя поставить его как следует и что его красивая наружность весьма идет к этой роли. Уважая во мне власть директора, все повиновались, разумеется весьма неохотно. На первой же репетиции друг мой Александр так всем не понравился, что мне больно было на него смотреть. Вновь приступили ко мне товарищи с просьбою отдать роль генерала кому-нибудь другому; но я не согласился, извинял Панаева незнанием роли, ручался, что я его выучу и что он будет хорош. Я предвидел бурю и просил моего друга, наедине, отказаться от роли, но он умолял меня со слезами не лишить его возможности произвести выгодное впечатление на сердце любимой особы, которую он ревновал именно к Балясникову. Он так разжалобил меня, что я дал ему клятву никому не отдавать роли генерала, кроме его. Я обещал даже, что в случае сильного восстания откажусь от роли Мейнау. На второй репетиции, несмотря на знание роли, Панаев читал

ее так же неудачно. Пользуясь правом директора, я не позволил никому, кроме играющих актеров, присутствовать на этой репетиции, но в самое то время, когда Александр Панаев в роли генерала вел со мною сцену, я заметил, что двери отворились и Балясников, сопровождаемый Кузминским, Кинтером, Зыковым и другими, вошел с насмешливым и наглым видом и стал перед самою сценою. Едва я успел застрелить Панаева, как все мои товарищи-актеры окружили меня и решительно требовали, чтобы я передал роль генерала именно Балясникову. Панаев побледнел. Движимый горячею дружбою и оскорбленный в моем директорском достоинстве, я грозно отвечал: «что этого никогда не будет и что они вмешиваются не в свое дело, и что если они не хотят меня слушаться, то я отказываюсь от роли Мейнау и не хочу участвовать в театре». Я думал поразить всех последними словами. Голова моя была сильно вскружена от похвал и высокого о себе мнения, и я считал, что театр без меня невозможен; но противники мои только того и ждали. Балясников выступил вперед и произнес дерзкую речь, в кото-

рой между прочим сказал, что я зазнался, считаю себя великим актером, употребляю во зло право директора и из дружбы к Александру Панаеву, который играет гадко, жертвую спектаклем и всеми актерами. «Наши похвалы дали тебе славу, — прибавил он, — мы же ее у тебя и отнимем, и уверим всех, что ты дрянной актер; мы лишаем тебя директорства и исключаем из числа актеров». Все единогласно подтвердили его слова. Хотя я ожидал восстания против моей власти, но не предвидел такого удара. Собрав все присутствие духа, с геройскою твердостью я взял моего друга Александра за руку и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Воротясь домой, ошеломленный моим падением, чувствуя свою неправость, я утешал себя мыслию, что пожертвовал моим самолюбием и страстью к театру — спокойствию друга. Я думал, что писца без меня не может идти и что ненавистный его соперник не явится в блестящих эполетах и не похитит сердца красавицы. Но каково было поражение для меня и Панаева, когда, приехав на другой день в университет, мы узнали, что еще вчера труппа актеров вы-

брала Балясникова своим директором, что он играет роль генерала, а моя роль отдана Дмитриеву. Надобно сказать, что этот замечательный и даровитый своекоштный студент Дмитриев были везде постоянным моим соперником, над которым, однако, до сих пор я почти всегда торжествовал. В классах у Ибрагимова его сочинения на заданные предметы иногда не уступали моим, и, несмотря на некоторое пристрастие ко мне, два раза Ибрагимов публично сказал, что на этот раз он не знает, чьему сочинению отдать преимущество: моему или Дмитриева? Он славился также искусством декламации, и я видал, что иногда собиралась около него толпа слушателей, когда он читал какие-нибудь стихи. Говоря по совести, я должен сказать, что у Дмитриева, может быть, более было таланта к литературе и театру, чем у меня; но у него не было такой любви ни к тому, ни к другому, какою я был проникнут исключительно, а потому его дарования оставались не развитыми, не обработанными; даже в наружности его, несколько грубой и суровой, во всех движениях видна была не только неловкость, но

какая-то угловатость и неуклюжесть. К нему-то обратились мои товарищи и не без труда упростили его взять роль Мейнау. Мне никогда не входило в голову, чтоб этот дикарь согласился выйти на сцену. Сейчас дали ему пьесу, заставили читать вслух, и все без исключения пришли в восторг от его чтения. Нам рассказали, что многие были тронуты до слез и что друг Дмитриева студент Чеснов (самый добрый хохотун и пошляк) и студент Д. Перовщиков плакали навзрыд.[29]

Мы с Александром Панаевым были убиты, уничтожены: я — в моем самолюбии, в моей любви к театру, Панаев — в любви к университетской красавице. Если б я, поступая справедливо, отдал роль генерала другому, — не играть бы было Балясникову генерала, не являться в блестящих эполетах! — Драма «Мейнау, или Следствие примирения» была, наконец, сыграна, но не так удачно, что послужило некоторым утешением мне и Панаеву. Впрочем, мы оба не были на представлении, и я говорю об неудаче этого спектакля по общему отзыву не студентов, а учителей и по-

сторонних зрителей; студенты же, напротив, особенно актеры, превозносили похвалами Дмитриева. Я сам убежден, что если не везде, то во многих сильных местах роли он был очень хорош, потому что я видел его на репетиции.

Оторванный от театра стечением обстоятельств, я бросился в другую сторону — в литературу, в натуральную историю, которую читал нам на французском языке профессор Фукс, и всего более пристрастился к собиранию бабочек, которым увлекался я до чрезвычайности. Александр Панаев был верным товарищем и сотрудником моим во всем. Все свободное время мы бродили с рампетками [30] по садам, лугам и рощам, гоняясь за попадающимися нам денными и сумеречными бабочками, а ночных отыскивали под древесными сучьями и листьями, в дуплах, в трещинах заборов и каменных стен.

Слушание некоторых университетских лекций и продолжение ученья в двух высших классах гимназии шло довольно удовлетворительно, но не отлично. Я начал было слушать с большим участием анатомию, и поку-

да резали живых и мертвых животных, ходил на лекции очень охотно. Я даже считался очень хорошим учеником. Но когда дело дошло до человеческих трупов, то я решительно бросил анатомию, потому что боялся мертвецов, но не так думали мои товарищи, горячо хлопотавшие по всему городу об отыскании трупа, и когда он нашелся и был принесен в анатомическую залу, — они встретили его с радостным торжеством; на некоторых из них я долго потом не мог смотреть без отвращения.

Рассказывая о моем театральном поприще, я забежал далеко вперед, и мне надобно воротиться назад, чтоб рассказать мою домашнюю жизнь у Григорья Иваныча, уже несколько изменившуюся. О первом денном спектакле в доме Панаевых Григорий Иваныч ничего не знал; но когда мы решились затеять театр в университете и я рассказал об этом моему воспитателю — он согласился на мое участие в этих спектаклях без всякого затруднения, даже очень охотно. Он видел потом комедию «Так и должно», был доволен моею игрою и очень смеялся над моим костю-

мом. Должно признаться, что театр слишком привлекал все мое внимание и участие, да и Григорий Иваныч начал уже не так пристально заниматься мной. Я не знаю, какая была тому первоначальная причина, и сам очень бы желал уяснить себе эту перемену; правда, несколько ничего не значущих неудовольствий поселяли на время некоторую холодность между нами, но без постороннего участия, без каких-нибудь посторонних влияний они никак не могли бы произвести таких важных последствий, каких никто не мог ожидать. Первое неудовольствие произошло между нами оттого, что Григорий Иваныч нашел у меня запрещенные им романы «Мальчик у ручья» Коцебу и «Природа и любовь» Августа Лафонтена. Я читал их по ночам или в пустых антресолях — читал с увлечением, с самозабвением!.. Смешно сказать, но и теперь слова: «Люби меня, я добр, Фанни!» или: «Месяцы, блаженные месяцы пролетали над этими счастливыми смертными», [31] слова, сами по себе ничтожные и пошлые, заставляют сердце мое биться скорее, по одному воспоминанию того восторга, того упоения, в которое

приводили они пятнадцатилетнего юношу! Да, слова ничего не значат: все зависит от чувства, которое мы придаем им. — Без сомнения я был виноват, но наставник мой слишком строго порицал мою вину, и если б я поверил ему, то пришел бы в отчаяние; но я не мог признать себя таким преступником и получил право и возможность обвинять моего воспитателя в несправедливости и оскорблении меня. Впрочем, на этот раз все уладилось между нами довольно скоро. Второе неудовольствие состояло в следующем: накануне троицы Григорий Иваныч вздумал уехать со мной в Коцаково и прожить там дни три. На этот раз мне не хотелось уезжать, потому что у нас с Панаевым был устроен механический театр с чудесными декорациями, машинами, превращениями, с грозой, с громом и молнией. Александр Панаев был великий мастер на все такие штуки. Именно в духов день назначено было представление и приглашены зрители; больно мне было уезжать, но я покорился без ропота. В назначенный день для нашего отъезда в деревню я выпросился у моего воспитателя на несколько

часов к Панаеву. Григорий Иванович согласился, но сказал, что если я не ворочусь к семи часам, то он уедет один. Я обещал непременно воротиться. Мы с Панаевым занялись генеральной пробой нашего механического спектакля, а как некоторые явления не удавались, то есть молния не попадала в то дерево, которое должна была разбить и зажечь, месяц не вылезал из облаков и падение водопада иногда внезапно прекращалось, то я так завлекся устройством явлений природы, что пропустил назначенный срок, и хотя, вспомнивши его, бежал бегом до самого дома, но опоздал четверть часа. Григорий Иванович уехал ровно в семь часов один, в большом гневе, но не отдал никаких приказаний на мой счет. Здесь начинается моя уже настоящая вина. Ефрем Евсеич предлагал нанять лошадей и отправиться вместе со мной в Коцаково, но я, ссылаясь на то, что Григорий Иванович мог бы подождать меня или приказать, чтоб я вслед за ним приехал один, — решительно отказался ехать и сейчас отправился к Александру Панаеву. Мы провозились с театром всю ночь. Евсеич, встревоженный моим долгим отсут-

ствием, сам пришел за мной. Мы показали ему театр, и он немало дивился нашей хитрости. На солнечном восходе воротились мы домой. Дядька вновь уговаривал меня ехать к Григорью Иванычу, но я решительно отказался. В троицын день Панаев обедал у меня, а после обеда мы отправились гулять на Арское поле, возле которого я жил и на котором обыкновенно происходило на троицкой неделе самое многолюдное народное гулянье. В духов день был у Панаевых спектакль, сошедший великолепно: дуб был раздроблен и сожжен молнией, месяц беспрепятственно выходил из облаков, водопад шумел и пенился, не останавливаясь. Зрители и хозяйева были в восхищении, но у меня на сердце скребли кошки, как говорится. На третий день рано поутру воротился Григорий Иваныч. Я еще спал, когда он имел грозное объяснение с Евсеичем, который рассказал ему все, что происходило, и не скрыл даже того, что два раза предлагал мне ехать в Коцаково. Григорий Иваныч не велел мне показываться ему на глаза и двое суток не видал меня и даже не обедал со мною. Я огорчился глубоко и в то же

время оскорбился; мне уже был шестнадцатый год, и я решил, что так можно поступать только с мальчиком. Наконец, последовало объяснение; хотя я приготовился встретить его с твердостью и хладнокровием и точно, все жестокие упреки сначала переносил и отражал с наружным спокойствием, но когда Григорий Иваныч сказал: «А что будет с вашей матерью, когда я опишу ей ваш поступок и откажусь жить вместе с вами?..» — тогда растаяла, как воск, моя твердость, слезы хлынули из глаз, и я признал себя безусловно виноватым и чистосердечно просил простить мою вину. Григорий Иваныч сделал большую ошибку: он не воспользовался моим искренним раскаянием, встретил его холодно и не примирился со мною вполне. Может быть, он не совсем мне верил, но всего вероятнее, что он поступил так по расчету; он знал, что я, слишком живо принимая впечатления, слишком скоро и забывал их, а потому и хотел переменою своего обращения заставить меня глубже почувствовать мою вину. Следствия вышли совсем не те, каких он ожидал: сам он переменялся ко мне, а от меня требовал, что-

бы я был таким же, каким был прежде; а как по свойству моей природы такие холодные отношения были для меня невыносимы, то я скоро стал во всем оправдывать себя и во всем обвинять его, и моя привязанность к нему поколебалась. Наконец, один случай, совершенно ничтожный, окончательно изменил наши прежние отношения. Университетский эконом Маркевич умер. Я уже говорил, что он всегда ласкал меня и что я его очень любил; но как я с детства боялся покойников, то, несмотря на убеждения и приказания Григорья Иваныча, ни за что не согласился быть на похоронах Маркевича. Григорий Иваныч воротился с печальной церемонии вместе с рисовальным учителем Чекиевым. Надобно предварительно сказать, что я очень не любил этого господина, большого франта, надоедавшего мне самыми пошлыми шутками. Я всегда удивлялся, как мог Григорий Иваныч быть коротким приятелем с таким пустым человеком, хотя эта связь легко объяснялась тем, что они были товарищами в московской университетской гимназии. Чекиев в этот день особенно приставал ко мне: зачем я не

был на похоронах, зачем не отдал последнего долга человеку, который меня так любил? утверждал, что мой поступок показывает жестокое сердце и проч. и проч. Одним словом, он раздражил меня и когда спросил с насмешкой: «Признайтесь, пожалуйста, что вы совсем не боитесь покойников и что вы взвели на себя этот страх из одного эгоизма?..» я рассердился и резко, с грубостью ему отвечал: «Вы совершенно правы. Я покойников не боюсь и притворяюсь...» Обсуживая эти слова хладнокровно, я и теперь не вижу в них той важности, какую придавал им Григорий Иванович. Гнев изменил его лицо, и он сказал мне тихим, но выразительным голосом: «После слов, которые вы осмелились сказать в моем присутствии моему товарищу и гостю, — вы можете сами судить, можем ли мы быть приятны один другому. Извольте идти в вашу комнату». Не чувствуя никакой своей вины, я, разумеется, рассердился еще более, но ушел, не сказав ни слова. Сцена происходила перед самым обедом, и кушанье уже стояло на столе. Вслед за мной Евсеич принес и мой прибор и объявил, что Григорий Иванович прика-

зал мне обедать в своей комнате. Бешенство мое удвоилось, и только мысль о матери удержала меня от намерения идти к моему воспитателю и наговорить ему грубостей. Я должен отдать справедливость Чекиеву: он, как Евсеич рассказал мне, очень долго просил Григорья Иваныча простить меня, но напрасно. После обеда Чекиев приходил ко мне, но я заперся на крючок и не пустил его в мою комнату. На другой день Григорий Иваныч призвал меня к себе и сказал холодно и решительно: «что нам уже не следует жить вместе, что он слагает с себя звание моего наставника и что мы оба должны теперь стараться о том, чтобы моя мать как можно легче перенесла наш разрыв; что мы должны это сделать, не оскорбляя друг друга». — Я отвечал, что он предупредил мое желание и что я точно то же хотел ему предложить. «Так и прекрасно», — сказал с усмешкою Григорий Иваныч и кивнул мне головой. Я ушел в свою комнату и на свободе предался волнению и гневу. Я считал себя кругом правым, а воспитателя моего — кругом виноватым. Здесь должен я признаться в поступке, который трудно

извинить раздражением и вспыльчивостью. Следующий день, по несчастью, был почтовый, и я написал к отцу и к матери большое письмо, в котором не пощадил моего наставника и позволил себе такие оскорбительные выражения, от которых краснею и теперь. Конечно, если бы я отложил письмо до следующей почты, я непременно бы одумался, но горячность увлекла меня... увлекала и во всю жизнь... На другой день после отправки письма совесть начала меня упрекать, и я беспрестанно вспоминал слова Григорья Иваныча: «Мы не должны оскорблять друг друга». Что же я должен был почувствовать, когда чрез несколько дней, в продолжение которых мы видались только за обедом и почти не говорили, Григорий Иваныч позвал меня к себе и прочел мне огромное письмо, заготовленное им для отсылки к моей матери. В этом письме, исполненном ума и чувства дружбы, он признавал себя совершенно неспособным оставаться долее наставником и руководителем молодого человека, с которым надобно поступать уже не так, как с мальчиком, не так, как поступал он со мною до тех пор; он

уверял, что не знает, не умеет, как взяться за это трудное дело, и чувствует, что он действует не так, как должно; следовательно, может мне повредить. Он с подробностью описал мой ум, нрав, наклонности и предсказал будущее их развитие; описал также мои недостатки: хорошая сторона изображена была ярко, предвещала много доброго, а дурная — очень снисходительно и с уверенностью, что время и опытность не дадут ей укорениться. Он ручался за чистоту моих нравственных стремлений и уверял, что я могу безопасно жить один или с хорошим приятелем, как, например, Александр Панаев, или с кем-нибудь из профессоров, без всякой подчиненности, как младший товарищ; он уверял, что мне даже нужно пожить года полтора на полной свободе, перед вступлением в службу, для того, чтоб не прямо попасть из-под ферулы строгого воспитателя в самобытную жизнь, на поприще света и служебной деятельности. К этому он прибавлял, что не останется долго в университете и что скоро поедет в Петербург для предварительного приискания себе места по ученой, а может быть и по гражданской

части. — Григорий Иванович был испуган действием этого письма надо мною. Терзаемый совестью и раскаянием, я пришел в такое волнение, что долго не мог ничего говорить; наконец, слезы облегчили мою грудь. Я чисто-сердечно признался во всем, что писал к моим родителям, высказал все мои прежние к нему чувства, плакал, просил, молил Григорья Ивановича позабыть мой поступок и не разлучаться со мною до своего отъезда в Петербург. Я обещал ему и, конечно, сдержал бы обещание, что как бы он ни поступал со мною строго, я не только не покажу неудовольствия, но даже не почувствую его. Искренность раскаяния и душевного страдания, казалось, поколебали моего воспитателя. Он долго и пристально смотрел на меня, потом начал ходить по комнате и, наконец, сказал: «Дайте мне подумать», отпустил меня. Осталось два дня до следующей почты. Я написал другое письмо к моим родителям, в котором признавал себя непростительно и совершенно виноватым, восторженно хвалил моего наставника, описал подробно все происшествие и сказал между прочим: «Как бы Григо-

рий Иваныч ни поступил со мной, оставит у себя или прогонит — я стану любить его, как второго отца». Перед отправлением письма на почту я принес мое письмо к Григорью Иванычу и спросил: не угодно ли ему прочесть, что я пишу. Он отвечал, что не нужно, что он уже отправил свое, то самое, которое я слышал, и что это дело окончательно решено. Это был для меня удар нельзя сказать вовсе неожиданный, но тем не менее тяжкий: я знал, что никакие батареи не заставят теперь моего наставника отступить, да и всякое отступление оказалось бы бесполезным, потому что письмо его уже было послано. Делать было нечего: я поспешил отправить мое второе письмо. Мое живое воображение рисовало мне такую картину отчаяния моей бедной матери, что эта картина преследовала меня день и ночь, и я даже захворал с горя. Григорий Иваныч хмурился и, не одобряя никаких страстных моих порывов, доказывал мне очевидный вред излишества всяких ощущений; в то же время он сожалел обо мне и успокаивал меня, говоря, что моя мать гораздо легче примет это происшествие, нежели я думаю;

что наша разлука и без того была неизбежна и что мое второе письмо, содержание которого я ему рассказал, изгладит неприятное впечатление первого. Такие слова меня несколько успокоили. Я скоро выздоровел, и, наконец, мы получили письма из Аксакова. Григорий Иванович оказался совершенно прав. Отец и мать оценили мое раскаяние и простили мне первое письмо, написанное в припадке горячности. Мать вполне верила отзыву обо мне моего наставника, и ее материнское любящее сердце исполнилось отрадных и лестных упований. Она верила также скорому отъезду и необходимости этого отъезда, по собственным обстоятельствам Григорья Ивановича. Она была убеждена, что он останется навсегда нашим истинным другом и что, перестав быть моим воспитателем, гораздо ближе сойдется со мною и больше меня полюбит; что советы его, не отзываясь никакою властью, будут принимаемы мною с большею готовностью, с большим чувством... Она не ошиблась. Будущее оправдало проницательность ее редкого ума.

Я должен был скоро отправиться на вакацию, а Григорий Иванович через месяц собирался ехать в Петербург. Мать моя поручила ему устроить мое будущее пребывание в Казани, и я, с согласия Григорья Ивановича (удивляюсь, как мог он согласиться), условился с адъюнкт-профессором философии и логики Львом Семенычем Левицким в том, что я буду жить у него, платя за стол и квартиру небольшую сумму и в то же время присматривая за его тремя воспитанниками, своекоштными гимназистами. Все три мальчика были мне родня и страшные шалуны, о чем я не имел понятия. Я простился с Григорьем Ивановичем с большим чувством, даже со слезами, и он сам был очень растроган; но, по своему обыкновению, старался прикрыть свое волнение шутками и даже насмешками над моею чувствительностью.

Несмотря на смутные и тревожные обстоятельства моей домашней внутренней жизни, мы с Александром Панаевым продолжали заниматься литературой и собиранием бабочек, которых умел мастерски раскладывать мой товарищ, искусный и ловкий на всякие меха-

нические занятия. Я написал несколько стихотворений и статью в прозе, под названием «Дружба», и показал моему другу Александру, который их одобрил, но сделал несколько критических замечаний, показавшихся мне, однако, неосновательными. Помещаю здесь мои первые ребячьи стихи, которых, впрочем, не помню и половины, и праздную тем мой пятидесятилетний юбилей на поприще бумагомаранья; считаю нужным прибавить, что у меня не было никакой жестокой красавицы, даже ни одной знакомой девушки.

К СОЛОВЬЮ

*Друг весны, певец любезнейший,
Будь единой мне отрадою,
Уменьши тоску жестокою,
Что снедает сердце страстное.*

*Пой красы моей возлюбленной,
Пой любовь мою к ней пламенну;
Исчисляй мои страданья все,
Исчисляй моей дни горести.*

*Пусть услышит она голос твой,
Пусть узнает, кто учил тебя.
Может быть, тогда жестокая,*

*Хоть из жалости вздохнет по
мне.*

*Может быть, она узнает тут,
Что любовь для нас есть счастье;
Может быть, она почувствует.
Что нельзя век не любя прожить.*

(Здесь недостает нескольких куплетов.)

*Истощи свое уменье все,
Возбуди ее чувствительность;
Благодарен буду век тебе
За твое искусство дивное...*

Вот какими виршами без рифм дебютировал я на литературной арене нашей гимназии в 1805 году! Впрочем, я скоро признал эти стихи недостойными моего пера и не поместил их в нашем журнале 1806 года. Все последующие стихи писал я уже с рифмами; все они не имеют никакого, даже относительного достоинства и не показывают ни малейшего признака стихотворного дарования.

Вакацию 1805 года, проведенную в Орен-

бургском Аксакове, я как-то мало помню. Знаю только, что ружье и бабочки так сильно меня занимали, что я редко удил рыбу, вероятно потому, что в это время года клёв всегда бывает незначительный; я разумею клёв крупной рыбы.

Я нашел здоровье моей матери очень расстроенным и узнал, что это была единственная причина, по которой она не приехала ко мне, получив известие о моем разрыве с Григорьем Иванычем. — Продолжая владеть мной беспредельной доверенностью и узнав все малейшие подробности моей жизни, даже все мои помышления, она успокоилась на мой счет и, несмотря на молодость, отпустила меня в университет на житье у неизвестного ей профессора с полною надеждою на чистоту моих стремлений и безукоризненность поведения.

Я приехал в Казань прямо к Левицкому. Незадолго до моего возвращения Григорий Иваныч уехал в Петербург, и меня очень удивило, что он целый месяц вакации прожил в

Казани без всякого дела. После отъезда Григорья Иваныча класс высшей математики, впредь до поступления нового профессора, был поручен студенту А. Княжевичу, которого отличные способности обещали славного ученого по этой части. Я не мог долго оставаться у Левицкого: пагубная страсть к вину совершенно им овладела, и он уже предавался ей каждый вечер в одиночку; воспитанники его избаловались до последней крайности и ничему не учились. Мне скоро надоело возиться с этими шалунами, и я чрез два месяца, с разрешения моего отца и матери, расставшись с Левицким, нанял себе квартиру: особый флигелек, близехонько от театра, у какого-то немца Германа, поселился в нем и первый раз начал вести жизнь независимую и самобытную. Мы были почти неразлучны с Александром Панаевым и приняли в свое литературное товарищество студента Д. Перевощикова. Переводили повести Мармонтеля, не переведенные Карамзиным, сочиняли стихами и прозою и втроем читали друг другу свои переводы и сочинения. Намерение переводить повести Мармонтеля было еще у меня тогда, когда

я жил у Левицкого. Один раз я сказал ему об этом, разумеется до обеда, покуда он был только с похмелья, и очень помню, как оскорбил меня его ответ: «Ну как вам переводить Мармонтеля после Карамзина? Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!» Но эти слова нас не остановили. — Наконец, мы с Александром Панаевым решились издавать письменный журнал в наступающем 1806 году под названием «Журнал наших занятий», но без имени издателя. Это было предприятие, уже более серьезное, чем «Аркадские пастушки», и я изгонял из этого журнала, сколько мог, идиллическое направление моего друга и слепое подражание Карамзину. Я в то время боролся из всех сил противу этого подражания, подкрепляемый книгою Шишкова: «Рассуждение о старом и новом слоге», которая увлекла меня в противоположную крайность. Я скажу об этом подробнее в другом месте. Из сохранившихся у меня трех книжек «Журнала наших занятий» я вижу, что он начался не с января, а с апреля и продолжался до декабря включительно. К сожалению, в этих трех книжках нет ни одной моей статьи, ни пере-

водной, ни оригинальной; но я помню, что их находилось довольно. Теперь мне было бы очень любопытно узнать, как выразалось мое тогдашнее направление. Я помещаю в особом приложении оглавление статей и выписки из некоторых пьес.

Между тем в конце 1805 года и январе 1806 составились два спектакля в университете без моего участия. Тяжело, горько было мне это лишение; страдала моя любовь к театру, страдало мое самолюбие от успехов моего соперника Дмитриева; но делать было нечего. Актеры предлагали мне опять вступить в их труппу, но я не забыл еще сделанного мне оскорбления и отвечал: «Я вам не нужен, у вас есть Дмитриев, который прекрасно играет мои роли». — «Ну как хочешь, дуйся, пожалуй, обойдемся и без тебя», — отвечал мне директор Балясников; тем дело и кончилось. Впрочем, все шло дружелюбно; я ходил на репетиции и давал советы тем, кто у меня их спрашивал. В первом спектакле, в комедии Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», Дмитриев играл Неизвестного с большим успехом. Несмотря на совершенное неумение

держатъ себя, на смешныя позы и еще болѣе смешныя жесты одной правой рукой, тогда какъ левая точно была привязана у него за спиной, несмотря на положительно дурное исполненіе обыкновенныхъ разговоровъ съ своимъ слугою и беднымъ старикомъ, — Дмитриевъ въ сценѣ съ другомъ, которому рассказываетъ свои несчастія, и въ примиреніи съ женой выражалъ столько силы внутренняго чувства, что все зрители, въ томъ числѣ и я, были совершенно увлечены, и общее восхищеніе выражалось неистовыми рукоплесканіями. Сначала я только восхищался и никакое чувство зависти не вкрадывалось въ мое сердце, но потомъ слова некоторыхъ студентовъ, особенно актеровъ, глубоко меня уязвили, и проклятая зависть поселилась въ моей душѣ. Мнѣ безъ церемоніи говорили: «Ну что, обошлись мы и безъ тебя! Да гдѣ тебѣ сыграть такъ Неизвѣстнаго, какъ играетъ Дмитриевъ. Тебя хвалили только потому, что его не видали». Въ самомъ дѣлѣ, успехъ Дмитриева въ этой роли былъ гораздо блистательнѣе моего, хотя существовала небольшая партія, которая утверждала, что я игралъ Неизвѣстнаго лучше, что Дмитриевъ ка-

рикатурен и что только некоторые, сильные места были выражены им хорошо; что я настоящий актер, что я хорош на сцене во всем от начала до конца, от первого до последнего слова. Тут была часть правды, и у меня родилось непреодолимое желание обработать роль Неизвестного и так сыграть, чтобы совершенно затмить моего противника. В начале 1806 года студенты дали другой спектакль и разыграли пьесу того же Коцебу «Бедность и благородство души», в которой Дмитриев играл роль Генриха Блума также с большим успехом, уступавшим, однако, успеху в роли Неизвестного. Защитники мои утверждали, что в Генрихе Блуме я был бы несравненно лучше Дмитриева. Подстрекаемый завистью и самолюбием, я старательно обработал обе эти роли и при многих слушателях, даже не весьма ко мне расположенных, прочел, или лучше сказать, разыграл сильные места обеих пьес. Все почувствовали разницу моей, конечно, более искусной и естественной, игры от дикого, хотя одушевленного силою чувства, исполнения этих ролей моим соперником. Между студентами возникли две равно-

сильные партии: за меня и против меня; это уже был первый шаг к торжеству. Шумные споры доходили до ссор и чуть не до драки; самолюбие мое несколько утешилось. Потом судьба захотела побаловать меня. Дмитриеву, которому было уже с лишком за двадцать лет, наскучило студентское ученье, правду сказать весьма неудовлетворительное; может быть, были и другие причины, — не знаю, только он решился вступить в военную службу; он внезапно оставил университет и, как хороший математик, определился в артиллерию. Труппа осиротела и поневоле обратилась ко мне. Я, пользуясь обстоятельствами, долго не соглашался, несмотря на предлагаемое мне вновь директорство. Наконец, довольно поломавшись, я согласился на следующих условиях: 1) звание и должность директора уничтожить, а для управления труппой выбрать трех старшин; 2) спектакли начать повторением «Ненависти к людям и раскаяния» и «Бедности и благородства души». — Разумеется, все согласилось. «Ненависть к людям и раскаяние» шла на святой неделе. Не знаю, по какому случаю был приглашен на ге-

неральную репетицию актер Грузинов,[32] которого мы все очень любили и уважали. Пьеса давалась у нас уже в третий раз и общим старанием, особенно моим, была довольно хорошо слажена. Грузинов удивился, не верил своим глазам и ушам. Он нахвалил нас содержателю Казанского театра П. П. Есипову, который поспешил получить позволение директора Яковкина приехать в театр на настоящее представление, и не только приехал сам, но даже привез с собою, кроме Грузинова, еще троих актеров. — Наконец, сошел давно желанный, давно ожидаемый мною спектакль! Удовлетворилось мое молодое самолюбие. Весь университет говорил, что я превзошел сам себя и далеко оставил за собою Дмитриева. Чего же мне было больше желать! О, непостоянство мирской славы! Через два, три месяца после торжества Дмитриева осталось только два, три человека, которые негромко говорили, что Дмитриев играл не хуже, а местами и лучше Аксакова. Это была совершенная правда. — В театре было довольно посторонних зрителей, они превозносили меня до небес; но самый сильный блеск и прочность

моей славе придавали похвалы П. П. Есипова и актеров, которых мнение, по справедливости, считалось сильным авторитетом. Я ожидал еще большего торжества в другой пьесе — «Бедность и благородство души», которая была уже сыграна в конце 1806 года. Читатели увидят, что я не ошибся.

Теперь надобно обратиться назад. Григорий Иваныч просрочил свой отпуск (потому что промешкал долго в Казани) и опоздал слишком месяц. Он воротился без всякого свидетельства о болезни и не представил никаких уважительных причин если не к оправданию, то по крайней мере к извинению своей просрочки. Университетское начальство встретило его неприязненно: Григорью Иванычу был сделан в совете выговор. Его подвергли какому-то денежному штрафу и записали просрочку в формуляр. Григорий Иваныч обиделся и подал в отставку. Отставку ему дали, хотя не скоро; но в аттестате хотели прописать его просрочку, денежный штраф и выговор. Григорий Иваныч не захотел получить такого аттестата, уехал в Петербург и по-

ступил на службу в Комиссию составления законов, без аттестата. Уже по прошествии долгого времени выхлопотал он приказание у министра просвещения выдать ему аттестат из университета без упоминания о просрочке и о прочем. Я видался часто с моим бывшим наставником до его отъезда и потом простился с ним, как с добрым старшим другом, которому я был обязан чистотою моих нравственных убеждений и стремлений; предсказание матери моей начинало сбываться.

В 1806 году совершилось другое событие, важность последствий которого, изменивших все положение моего семейства, долго оставалась мне неизвестною: Надежда Ивановна Куроедова, которая уже около года была больна водяною болезнью, скончалась. Все это время мои родители, с остальным своим семейством, жили в Симбирском Аксакове: то есть дети жили в Аксакове, покуда больная находилась в Чуфарове, откуда отец и мать не отлучались; когда же ее перевезли в Симбирск, то и отец мой с семейством переехал туда же. Надежда Ивановна, эта замечательная жен-

щина, переносила тяжкую свою болезнь с удивительным терпением, спокойствием и даже веселостью, а смерть встретила с такой твердостью духа, к какой немногие бывают способны. Когда, после двукратного выпуска воды из ног, совершили в третий раз ту же операцию и когда ее доктор Шиц, осматривая раны, говорил: «Очень, очень хорошо», она сказала ему: «Полно врать, жид. Я вижу, что теперь начинается последняя история. Это совсем не то, что было прежде; это антонов огонь. Я не боюсь смерти, я давно к ней готовилась. Говори, жидовское отродье, сколько мне осталось жить?» Шиц, привыкший к таким эпитетам, но всегда за них злившийся, неумолимым голосом ей отвечал: «Дня четыре проживете». — «Вот спасибо, Иван Карпыч, — отвечала больная, — что сказал правду. Теперь прощай; благодарю за хлопоты; больше ко мне прошу не ходить. Я сейчас прикажу с тобой расплатиться». Потом она собрала всех, объявила, что она умирает, что больше лечиться не хочет и требует, чтобы ее оставили в покое, чтоб в ее комнате не было ни одного человека, кроме того, кото-

рый будет читать ей евангелие. «Все ли я исполнила, что должно? — спросила она, обратясь к моему отцу, — не нужно ли еще чего?» — «Ничего, тетушка, — отвечал мой отец, — вы давно все сделали». — «Так и прекрасно, — заключила больная, — прошу же обо мне не беспокоиться. Извольте выйти». Надежда Ивановна прожила пять дней. Во все время она или читала молитвы, или слушала евангелие, или пела священные славословия. Ни с кем не сказала она ни одного слова о делах мира сего. По ее приказанию все простились с нею молча, и она всякому говорила, даже своему дворнику, только три слова: «Прости меня, грешную». Обо всем этом уведомляли меня чрез письма, но ничего другого не сообщали. — Вскоре я получил известие, что у меня родилась третья сестра, что мать была отчаянно больна, но что, слава богу, теперь все идет благополучно. Я сначала испугался, потом обрадовался, и, наконец, дальнейшие письма совершенно успокоили меня насчет здоровья матери.

Мы с Александром Панаевым продолжали

усердно заниматься своими литературными упражнениями и посещениями театра, а когда наступила весна, — собиранием бабочек. К стыду моему, должен я признаться, что, кроме любимых предметов, мое ученье шло довольно слабо и что я сильно и много развлекался.

К числу таких развлечений я причисляю и то, что мы составили маленькое литературное общество под председательством Н. М. Ибрагимова. Основателями и первыми членами его были: Ибрагимов, студенты: В. Перевощиков, Д. Перевощиков, П. Кондырев (он же секретарь), И. Панаев, А. Панаев, я и гимназический учитель Богданов. Мы собирались каждую неделю по субботам и читали свои сочинения и переводы в стихах и прозе. Всякий имел право делать замечания, и статьи нередко тут же исправлялись, если сочинитель соглашался в справедливости замечаний; споров никогда не было. Принятое сочинение или перевод вписывался в заведенную для того книгу. Впоследствии, уже без меня, число членов умножилось, сочинили устав, и с высочайшего утверждения было открыто

«Общество любителей русской словесности при Казанском университете». Оно и теперь не уничтожено, но пребывает в совершенном бездействии, как и все литературные общества. Я до сих пор имею честь считаться его почетным членом.

В это время случилось в Казани следующее замечательное происшествие, непосредственно касавшееся до меня. Там был частный благородный пансион для особ обоего пола г-на и г-жи Вильфинг. Они не имели детей, но воспитали бедную сироту, Марью Христофоровну Кермик, которая достигла уже совершенных лет и была очень хороша собою. Григорий Иваныч иногда видался с Вильфингами и даже раза два брал меня к ним с собой; но я уже более полугода не бывал у них. В настоящее время я случайно, во время прогулки за городом, возобновил это знакомство, и вскоре красота Марьи Христофоровны оказала и на меня свое действие. Я, разумеется, открылся другу моему Александру; он очень обрадовался, бросился ко мне на шею и поздравлял меня, что я начинаю жить. Он употреблял все

усилия раздуть искру, заронившуюся в мое молодое сердце. Марья Христофоровна была девица очень тихая и скромная, так что все ее обожатели, которых было немало, вздыхали по ней в почтительном отдалении; о моих же чувствах, разумеется, она не имела и понятия. Вдруг посреди мечтательных надежд и огорчений, выражаемых мною весьма плохими ребячьими стихами, является в Казани, проездом, какой-то путешественник, шведский граф, знакомится с Вильфингами, всех очаровывает, ездит к ним всякий день и проводит с ними время от утра до вечера. Это был человек лет тридцати пяти, красивой наружности, умный, ловкий и бойкий, говоривший на всех европейских языках, владевший всеми искусствами и, сверх того, сочинитель и в стихах и в прозе. В три дня Вильфинги сошли от него с ума; через неделю влюбилась в него Марья Христофоровна, а еще чрез две недели он женился на ней и увез с собой в Сибирь, куда ехал для каких-то ученых исследований, по поручению правительства, в сопровождении чиновника, который служил ему переводчиком, потому что граф не понимал

ни одного русского слова. Горько было Вильфингам расстаться с своей воспитанницей, которую они любили, как родную дочь, но счастье ее казалось так завидно, так неожиданно, так высоко, что они не смели горевать. Дочь булочника — а теперь жена графа, обожаемая мужем, человеком, осыпанным всеми дарами образованности и природы! От такого происшествия и не немцы сошли бы с ума. Но, увы! скоро загадка объяснилась. Мнимый граф был самозванец, отъявленный плут и негодяй, весьма известный своими похождениями в Германии, по фамилии Ашенбреннер, бежавший от полицейских преследований в Россию, принявший русское подданство, проживавший у нас в разных западных губерниях несколько лет, попавшийся во многих мошенничествах и сосланный на жительство в Сибирь; чиновник, сопровождавший его, был точно чиновник, но — полицейский, носивший какую-то немецкую фамилию, который вез его секретно в Иркутск, чтобы сдать с рук на руки под строжайший надзор губернатору. Все это было как-то скрыто от Вильфингов и от публики. В переводчике

же путешественник не нуждался, потому что очень хорошо говорил по-русски, как узнали после. Он сам уведомил с дороги Вильфингов о своем обмане, к которому заставила его прибегнуть «всесильная любовь»; разумеется, называл себя жертвою клеветы врагов, надеялся, что будет оправдан и вознагражден за невинное страдание. Марья Христофоровна сама писала, что она все знает, но тем не менее благодарит бога за свое счастье. Наконец, кто-то прислал Вильфингам печатные похождения мнимого графа, в двух томах, написанные им самим на немецком языке. Это был настоящий Видок того времени. Старики Вильфинги неутешно сокрушались. Что сделалось впоследствии с Марьей Христофоровной, я ничего узнать не мог. — Так печально кончилась первая моя сердечная склонность.

На летнюю вакацию я опять поехал в Симбирское Аксаково, где жило тогда мое семейство. Я приехал поздно вечером, все в доме уже спали; но мать, ожидавшая меня в этот день, услышала шум, вышла ко мне на крыльцо и провела меня прямо в спальную. После

радостных объятий с отцом и с матерью, после многих расспросов и рассказов я лег спать на софе у них в комнате. Проснувшись поутру довольно поздно, я услышал, что родители мои тихо разговаривают между собою о каких-то делах, мне не известных. Наконец, заметив, что я перестал храпеть, мать тихо сказала моему отцу: «Надобно рассказать обо всем Сереже; ведь он ничего не знает». — «Расскажи, матушка», — отвечал мой отец. «Ты не спишь, Сережа?» — «Нет, маменька», — отвечал я. «Так поди же к нам. Мы расскажем тебе, что случилось с нами. Мы теперь богаты». Я встал, сел к ним на постель, и мне, со всеми мельчайшими подробностями, пространно рассказали то, что я постараюсь рассказать в нескольких словах. Надежда Ивановна Куроедова, сделавшись вдруг тяжело больна водяною болезнью, немедленно укрепила моему отцу, судебным порядком, все свое движимое и недвижимое имение. Через несколько дней все дело было улажено; весь уездный суд и несколько свидетелей, из числа известных и почетных лиц в городе, приехали в Чуфарово. Надежда Ивановна в

присутствии всех подписала нужные бумаги и подтвердила их особою сказкою и личным удостоверением. Когда все было кончено, она приказала подать шампанского, взяла бокал и первая весело поздравила нового владельца. Надобно сказать, что в это время она была так тяжело больна, что лучший тогда доктор, Шиц, привезенный немедленно из Симбирска, не имел надежды к ее выздоровлению. Он решился на выпуск воды из ног посредством операции, нисколько не ручаясь за выздоровление больной; но силы ее были еще так крепки, что неиспорченная натура скоро победила болезнь и больная в самое короткое время совершенно выздоровела. К сожалению, не веря простуде и считая диету за выдумку докторов, Надежда Ивановна продолжала вести прежнюю жизнь, простудилась, испортила желудок и получила рецидив водяной болезни. Вторичная операция была уже не так удачна и только отдалила печальную развязку. Больную перевезли в Симбирск, где она после третьей операции скончалась, о чем я уже говорил.

Боже мой, что значит богатство! Как оно разодрало глаза всем добрым людям! Какою завистью закипели сердца близких друзей и даже родных!

У Надежды Ивановны были бедные должники; об них докладывали при ее кончине, и она отвечала, «что у ней деньги не воровские, не нажитые скверным поведением, и что она дарить их не намерена». Мои родители простили таких долгов до двадцати тысяч, объявляя должникам, что впоследствии Надежда Ивановна сама приказала денег с них не взыскивать. Этот поступок никого не обезоружил, не примирил с богатыми наследниками, и мой отец с матерью очень огорченные, чрез несколько месяцев уехали на житье в свое Оренбургское Аксаково.

По совести скажу, что перемена состояния не произвела на меня ни малейшего впечатления. Всю вакацию занимался я то ружьем, то бабочками, то театральными пиесами. Я воротился в университет точно таким же молодым, очень, очень небогатым студентом и

долго забывал даже сказать другу моему, Александру Панаеву, о счастливой перемене наших обстоятельств. Но в семействе своем я перемену заметил: поговаривали о переезде на зиму в Казань; написали в Москву к своему другу и комиссионеру, Адреяну Федорычу Аничкову, чтобы он приискал и нанял французенку в гувернантки и учительницы к моим сестрам; даже намеревались на будущий год сами ехать на зиму в Москву, а летом в Петербург, для определения меня на службу. Для исполнения этого последнего намерения было положено, чтоб в следующем, 1807 году я оставил университет.[33]

Я слушал все это довольно равнодушно; к Петербургу и к службе никакого призвания я не чувствовал; я даже думал, что это только одни разговоры, одни предположения, но ошибся. Через месяц по приезде в Казань я получил письмо от отца с приказанием приискать и нанять большой поместительный дом, где не только могло бы удобно расположиться все наше семейство, но и нашлись бы особые комнаты для двух родных сестер моей

матери по отце, которые жили до тех пор в доме В—х, Мать прибавляла, что она намерена для них выезжать в свет, и потому должна познакомиться с лучшею городскою публикою. Я очень этому обрадовался и за себя и за своих теток, которых искренно любил и с которыми нередко видался. Я немедленно нанял большой каменный дом купца Комарова и, в ожидании моего семейства, перебрался в него на антресоли и занял одну уютную комнату.

Университетская жизнь текла прежним порядком; прибавилось еще два профессора немца, один русский адъюнкт по медицинской части, Каменский, с замечательным даром слова, и новый адъюнкт-профессор российской словесности, Городчанинов, человек бездарный и отсталый, точь-в-точь похожий на известного профессора Г—го или К—ва, некогда обучавших благородное российское юношество. Я забыл сказать, что бедный Левицкий получил от невоздержности водяную и умер. Все мы искренно о нем сожалели. — На первой лекции адъюнкт-профессор Городчанинов сказал нам пошлое, надутое привет-

ствие и, для лучшего ознакомления с студентами, предложил нам, чтоб всякий из нас сказал, какого русского писателя он предпочитает другим и какое именно место в этом писателе нравится ему более прочих. На такой вопрос вдруг отвечать очень мудро, и потому всякий отвечал то, что на ту пору приходило ему в голову. Многие называли Карамзина, но Городчанинов морщился и изъявлял сожаление, что университетское юношество заражено этим опасным писателем. Студент Фомин, сидевший подле меня, сказал мне на ухо: «Посмотри, Аксаков, как я потешу этого господина». В самом деле, когда дошла до него очередь, Фомин встал и громко сказал: «Я предпочитаю всем писателям — Сумарокова и считаю самыми лучшими его стихами последние слова Дмитрия Самозванца в известной трагедии того же имени:

*Ступай, душа, во ад и буди вечно
пленна.*

Фомин сделал движение рукою с свернутой тетрадью, как будто закололся кинжалом, и торжественно произнес:

Ах, если бы со мной погибла вся вселенна!

Студенты едва удерживались от смеха, но профессор пришел в такое восхищение, что сбежал с кафедры, вызвал Фомина к себе, протянул ему руку и сказал, что желает познакомиться с ним покороче. Тут сделал он нам объяснение, что сильнее этого последнего стиха нет ни в одной литературе. Дошла очередь до меня. Я сказал, что всем предпочитаю Ломоносова и считаю лучшим его произведением оду из Иова. Лицо Городчанинова сияло удовольствием. «Потрудитесь же что-нибудь прочесть из этой превосходной оды», — сказал он. Я того только и ждал, надеясь поразить профессора моей декламацией. Но как жестоко наказала меня судьба за мое самолюбие и староверство в литературе! Вместо известных стихов Ломоносова:

*О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь, человек! —*

я прочел, по непостижимой рассеянности, следующие два стиха:

О ты, что в горести напрасно

На службу ропщешь, офицер!

«Помилуйте, — закричал профессор, — это гнусная пародия на превосходную оду Ломоносова». Я смешался, покраснел и поспешил начать:

*О ты, что в горести напрасно
На службу...*

Вся аудитория разразилась громким смехом. Я остолбенел от досады и смущения, стогрел от стыда и не понимал, что со мною делается. Профессор презрительно велел мне сесть и продолжал допрашивать других студентов. Всю двухчасовую лекцию просидел я как на горячих углях. Я потом объяснился с Городчаниновым и постарался уверить его, что это была несчастная ошибка и рассеянность, совершенно неожиданная для меня самого, что все это произошло оттого, что я перед самой лекцией два раза слышал и один раз сам прочел эту проклятую пародию; я доказал профессору, что коротко знаком с Ломоносовым, что я по личному моему убеждению называл его первым писателем; узнав же, что я почитатель Шишкова, Городчанинов скоро со

мною подружился: он сам был отчаянный *шишковист*. В глазах профессора я свои дела поправил, но от насмешек товарищей не было спасенья, покуда им не наскучило смеяться надо мной. Смеялись не столько над ошибкой моей, как над симпатией с Городчаниновым. Несколько дней сряду большая часть студентов встречала меня низкими поклонами и поздравлениями, что я нашел себе достойного единомышленника, то есть противника карамзинскому направлению и обожателя Шишкова; каждый спрашивал о здоровье Городчанинова, моего друга и покровителя, давно ли я с ним виделся, когда увижусь?.. и проч. и проч. Надоедали мне такие шутки, но споры не помогали, и, кроме терпения, не было другого лекарства.

Между тем составился у нас спектакль, давно затеянный мною, в котором я надеялся окончательно восторжествовать над Дмитриевым. Я говорю о комедии «Бедность и благородство души». Мы два раза пригласили на репетицию актера Грузинова, который, нередко останавливая и поправляя игру моих

товарищей, не сделал мне ни одного замечания, а говорил только: «Очень хорошо, прекрасно!» Надежды мои блистательно оправдались: комедия «Бедность и благородство души» была сыграна, и не осталось ни одного почитателя Дмитриева, который бы не признался, что роль Генриха Блума я сыграл несравненно лучше его. Содержатель публичного театра П. П. Есипов подарил мне кресло на всегдашний свободный вход в театр. Это был последний университетский спектакль, в котором я играл, последнее мое сценическое торжество в Казани. Откровенно признаюсь, что воспоминание о нем и теперь приятно отзывается в моем сердце. Много есть неизъяснимо обаятельного в возбуждении общего восторга! Двигать толпою зрителей, овладеть их чувствами и заставить их слиться в одно чувство с выражаемым тобою, жить в это время одной жизнью с тобою — такое духовное наслаждение, которым долго остается полна душа, которое никогда не забывается! — У нас был также давно затеян другой спектакль, и все актеры и студенты пламенно желали его исполнения; но дело длилось, потому что

трудно, не по силам нашим было это исполнение. Речь идет о «Разбойниках» Шиллера. Я не слишком горячо хлопотал об этом спектакле, потому что всегда заботился о достоинстве, о цельности представления пьесы, а у нас не было хороших актеров для первых ролей, для ролей Карла и Франца Моора. Наконец, Карл нашелся. Это был молодой человек, не игравший до сих пор на театре, Александр Иваныч Васильев, находившийся тогда уже учителем гимназии. Все восхищались его чтением роли Карла Моора, кроме меня. Студенты очень любили Васильева, как бывшего милого товарища, и увлекались наружностью его, — особенно выразительным лицом, блестящими черными глазами и прекрасным органом; но я чувствовал, что в его игре, кроме недостатка в искусстве, недоставало того огня, ничем не заменимого, того мечтательно-го, безумного одушевления, которое одно может придать смысл и характер этому лицу. Франц Моор был положительно дурен. Я играл старика, графа Моора. Наконец, мы репетировали «Разбойников», как могли, и предполагали дать их на святках. Мое семейство

давно уже было в Казани, и я очень радовался, что оно увидит меня на сцене; особенно хотелось мне, чтоб посмотрела на меня мой друг, моя красавица сестрица; но за неделю до представления получено было от высшего начальства запрещение играть «Разбойников».

Я сказал уже, что мое семейство давно приехало; это было по первому зимнему пути, в половине ноября. Я не стану распространяться о том, как устраивала свое городское житье моя мать, как она взяла к себе своих сестер, познакомилась с лучшим казанским обществом, делала визиты, принимала их, вывозила своих сестер на вечера и на балы, давала у себя небольшие вечера и обеды; я мало обращал на них внимания, но помню, как во время одного из таких обедов приехала к нам из Москвы первая наша гувернантка, старуха француженка, мадам Фуасье, как влетела она прямо в залу с жалобой на извозчиков и всех нас переконфузила, потому что все мы не умели говорить по-французски, а старуха не знала по-русски.

Наступил 1807 год. Шла решительная война с Наполеоном. Впервые учредилась милиция по всей России; молодежь бросилась в военную службу, и некоторые из пансионеров, особенно из своекоштных студентов, подали просьбы об увольнении их из университета для поступления в действующую армию, в том числе и мой друг, Александр Панаев, с старшим братом своим, нашим лириком, Иваном Панаевым. Краснея, признаюсь, что мне тогда и в голову не приходило «лететь с мечом на поле брани», но старшие казенные студенты, все через год назначаемые в учителя, рвались стать в ряды наших войск, и поприще ученой деятельности, на которое они охотно себя обрекали, вдруг им опротивело: обязанность прослужить шесть лет по ученой части вдруг показалась им несносным бременем. Сверх всякого ожидания, в непродолжительном времени исполнилось их горячее желание: казенным студентам позволено было вступать в военную службу. Это произошло уже после моего выхода из университета. Многих замечательных людей лишилась нау-

ка, и только некоторые остались верны своему призванию. Не один Перевощиков, Симонов и Лобачевский попали в артиллерийские офицеры, и почти все погибли ранвременною смертью.

В генваре 1807 года подал я просьбу об увольнении из университета для определения к статским делам. Подав просьбу, я перестал ходить на лекции, но всякий день бывал в университете и проводил все свободное время в задушевных, живых беседах с товарищами. Иногда мы даже разыгрывали сцены из «Разбойников» Шиллера: привязывал себя Карл Моор (Васильев) к колонне вместо дерева; говорил он кипучую речь молодого Шиллера; отвязывал Карла от дерева Швейцер (Баласников), и громко клялись разбойники умереть с своим атаманом...

В марте получил я аттестат, поистине не заслуженный мною. Мало вынес я научных сведений из университета не потому, что он был еще очень молод, не полон и не устроен, а потому, что я был слишком молод и детски

увлекался в разные стороны страстностью моей природы. Во всю мою жизнь чувствовал я недостаточность этих научных сведений, особенно положительных знаний, и это много мешало мне и в служебных делах и в литературных занятиях.

Накануне дня, назначенного к отъезду, пришел я проститься в последний раз с университетом и товарищами. Обнявшись, длинной вереницей, исходили мы все комнаты, аудитории и залы. Потом крепко, долго обнимались и целовались, Прощаясь навсегда, толпа студентов и даже гимназистов высыпала проводить меня на крыльцо; медленно сходил я с его ступеней, тяжело, грустно было у меня на душе; я обернулся, еще раз взглянул на товарищей, на здание университета — и пустился почти бегом... За мною неслись знакомые голоса: «Прощай, Аксаков, прощай!»

Прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте, первые, невозвратные годы юности пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной! Ни свет, ни домашняя жизнь со всеми их дрянностями еще не по-

мрачали вашей ясности! Стены гимназии и университета, товарищи — вот что составляло полный мир для меня. Там разрешались молодые вопросы, там удовлетворялись стремления и чувства! Там был суд, осуждение, оправдание и торжество! Там царствовало полное презрение ко всему низкому и подлому, ко всем своекорыстным расчетам и выгодам, ко всей житейской мудрости — и глубокое уважение ко всему честному и высокому, хотя бы и безрассудному. Память таких годов неразлучно живет с человеком и, не приметно для него, освещает и направляет его шаги в продолжение целой жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, как бы ни втоптали в грязь и тину, — она выводит его на честную, прямую дорогу. Я по крайней мере за все, что сохранилось во мне доброго, считаю себя обязанным гимназии, университету, общественному учению и тому живому началу, которое вынес я оттуда. Я убежден, что у того, кто не воспитывался в публичном учебном заведении, остается пробел в жизни, что ему недостает некоторых, не испытанных в юности, ощущений, что жизнь его не пол-

На...

По самому последнему зимнему пути поехали мы в Аксаково, где ждала меня весна, охота, природа, проснувшаяся к жизни, и прилет птицы; я не знал его прежде и только тогда увидел и почувствовал в первый раз — и вылетели из головы моей на ту пору война с Наполеоном и университет с товарищами.

ПРИМЕЧАНИЯ

События, о которых повествуют эти «Воспоминания», относятся к 1801–1807 гг., ко времени пребывания С. Т. Аксакова в Казанской гимназии и университете. «Воспоминания» хронологически завершают автобиографическую трилогию Аксакова, хотя писались они почти одновременно с последними главами «Семейной хроники» и задолго до «Детских годов Багрова-внука». 18 декабря 1853 г. Аксаков уведомлял сына Ивана, что хотел было приняться за воспоминания о Гоголе, но, добавляет он, «меня уговорили наперед окончить «Казанскую гимназию», которая, надо признаться, не только сильно меня занимает, но и волнует: память детства так ожила во мне, что старому сосуду приходится невтерпеж...» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, лл. 3 об. — 4). Три дня спустя Аксаков писал Тургеневу: «Я теперь с увлечением пишу историю моего болезненного детства, которая называется «Казанская гимназия». Стану ожидать вашего суда, на искренность и справедливость которого могу положиться; сам же и все мои в этом

деле не могут быть настоящими судьями: оно слишком затрагивает чувство, а этот господин сумеет обмануть кого угодно» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 9).

«Воспоминания» писались быстро, с увлечением. Но вскоре наступила заминка, вызванная обстоятельствами, которые часто причиняли Аксакову огорчения. «Завтра я допишу свою гимназию до того места, где намерен остановиться, — сообщал он 4 января 1854 г. сыну Ивану, — и приняться за историю нашего знакомства с Гоголем. Я написал о гимназии 45 листов. Меня очень затруднило, когда я дошел до того времени, когда начал понимать несогласие между отцом и матерью. Умолчать об этом невозможно потому, что моя духовная жизнь много от того переменялась. Без выпусков печатать эту статью при моей жизни нельзя» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 19, л. 35 об.).

В сохранившейся рукописи «Воспоминаний» никаких «выпусков», связанных с той темой, о которой говорит Аксаков, нет. Очевидно, «автоцензура» происходила на предшествующей стадии работы.

«Воспоминания» были закончены в середине января 1855 г. Об этом свидетельствует письмо Аксакова М. Г. Карташевской от 26 января 1855 г.: «15 генваря я кончил свои Воспоминания о гимназии и университете, в которых твой отец занимает значительное место» (ИРЛИ, 10.685/XVI с., л. 43).

При жизни Аксакова «Воспоминания» печатались дважды — в первом и втором изданиях книги «Семейная хроника и Воспоминания» (оба издания вышли в Москве в 1856 г.). До этого в печати появлялся лишь один небольшой отрывок (эпизод, в котором изображается приезд Аксакова домой незадолго перед окончанием гимназии) — в «Русском вестнике», 1856, т. I, кн. I, стр. 114–119. Отрывок датирован 22 ноября 1855 г. и сопровождается следующим примечанием-послесловием редакции журнала: «Эта грациозная картинка есть отрывок из большого сочинения, которое должно вскоре выйти в свет. Отрывок этот, при всей своей малости, может дать некоторое понятие об интересе целого сочинения, которое будет одним из самых капитальных приобретений нашей литературы. С

особенным удовольствием присовокупляем, что С. Т. Аксаков обещал украсить «Русский вестник» новым обширным трудом, который намерен вскоре предпринять».

В обоих изданиях 1856 г. «Воспоминания» вышли с «Приложениями», содержащими: оглавление четырех номеров рукописного журнала «Аркадские пастушки» (1804, март, май, июнь, август), несколько стихотворений и статей сверстников Аксакова и, наконец, оглавление трех номеров издававшегося Аксаковым совместно с А. Панаевым «Журнала наших занятий» (1806, июль, ноябрь, декабрь).

Надо сказать, что в «Воспоминаниях», писавшихся почти через пятьдесят лет после изображаемых событий, имеются неточности в изложении некоторых автобиографических фактов. Хронология событий в «Воспоминаниях» не всегда верна. По архивным материалам, Аксаков был принят в Казанскую гимназию в январе 1801 г., а в мае того же года увезен матерью на лечение домой в деревню. 19 марта 1802 г. совет гимназии рассматривал прошение матери Аксакова о разрешении ее

выздоровевшему сыну продолжать учение в гимназии «на собственном дворянском содержании» и принял по этому поводу положительное решение (см. Н. К. Горталов, Из прошлого императорской Казанской 1-й гимназии, Казань, 1910, стр. 19–20).

И тем не менее «Воспоминания» представляют собой очень ценный автобиографический документ. В них содержится разнообразный и интересный материал, рисующий юность Аксакова, процесс его духовного становления. Быт Казанской гимназии и университета, студенты и профессора, увлечение театром и литературным творчеством, различные перипетии личной жизни Аксакова — вот что составляет основное содержание «Воспоминаний». По художественному своему уровню они значительно уступают остальным частям трилогии. В «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука» фактическая достоверность мемуаров сочетается с глубокой типизацией действительности, доступной только большому художнику. Там Аксаков выступает как создатель типических характеров, в последней же части трилогии —

лишь в качестве летописца. В «Воспоминаниях» художественное обобщение выражено слабо.

В настоящем издании текст печатается по второму прижизненному изданию «Семейной хроники и Воспоминаний» (М. 1856), без приложений. Некоторые имена персонажей и названия местностей, обозначенные в первом и втором изданиях инициалами или сокращенно, воспроизводятся здесь полностью по четвертому изданию (М. 1870), подготовленному И. С. Аксаковым.

Гимназия

Период первый

Стр. 5. *...от которой в будущем ожидали мы наследства.* — Речь идет о Прасковье Ивановне Куролесовой (Надежде Ивановне Куроедовой), о которой говорится в «Семейной хронике».

Стр. 7. *Княжевичи.* — Княжевич Максим Дмитриевич (1758–1813) — губернский прокурор в Уфе, позднее служил в казенной палате в Казани, выходец из Сербии. С. Т. Аксаков с

детских лет был дружен с сыновьями М. Д. Княжевича — Дмитрием (1788–1844), впоследствии литератором, членом Российской академии, попечителем Одесского учебного округа, и Александром (1792–1872), впоследствии министром финансов.

Стр. 8. ...*отдайте Серезу в гимназию.* — Казанская гимназия была основана в 1758 г. и вскоре возымела репутацию хорошего учебного заведения. В 1788 г. гимназию закрыли по недостатку средств. Десять лет спустя она была вновь открыта и преобразована.

Стр. 9. «*Ипокрена, или Утехи любословия*» — журнал, выходивший в 1799–1801 гг. в Москве под ред. профессора Московского университета П. А. Сохацкого.

Стр. 13. *Левуцкий Лев Семенович* (1772–1807) — воспитанник Рязанской духовной семинарии, затем — Московской для разночинцев гимназии и, наконец, Московского университета; с 1799 г. преподавал в Казанской гимназии «логику и нравоучение», а с 1805 г. — адъюнкт умозрительной и практической философии Казанского университета.

Стр. 18. «*Детское училище*» — «Новое дет-

ское училище, или Опыт нравственного воспитания обоего пола и всякого состояния юношества, содержащий преполнейшие наставления к образованию разума и сердца и совершенному нравственному воспитанию, представленные в изящнейших письмах», соч. Жанлис, перев. с франц. в 3-х томах, СПб. 1792.

Стр. 35. *«Открытие Америки, приятное и полезное чтение для детей и молодых людей»* — соч. Кампе, перев. с нем. в 3-х частях, М. 1787.

«Завоевание Мексики». — Вероятно, имеется в виду «История о покорении Мексики» испанского поэта и историка Антонио Солиса (1610–1686), перев. с нем. В. Лебедева, в 2-х частях, СПб. 1765.

Стр. 36. *«Земира и Азор»*. — Текст этой оперы написан французским писателем Жаном Франсуа Мармонтелем (1723–1799), музыка — Гретри; на русском языке вышла в переводе Марии Сушковой (М. 1783).

Стр. 51. *Хребтуг* — походная кормушка для лошадей из холста.

Год в деревне

Стр. 54. *«Драматическая пустельга»* — комическая пьеса Н. П. Николева (1758–1815) «Приказчик. Драматическая пустельга с головами в одном действии» (М. 1781), впервые поставлена в Москве в 1778 г. Цитаты из пьесы приведены Аксаковым по памяти и неточны.

Стр. 61. *Гнездарь* — птица, вынутая из гнезда.

Книжку о грибах Аксаков так и не написал. В 1856 г. в № 6 «Вестника естественных наук» он напечатал статью «Замечания и наблюдения охотника братья грибы».

Стр. 62. *«Домашний лечебник» Бухана.* — Речь идет о популярной в свое время книге английского врача Вильяма Бухана (1729–1805), выдержавшей в Англии более двадцати изданий. «Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как для предохранения здоровья надежнейшими средствами, так и для пользования болезней всякого рода, с показанием причин, признаков а наипаче распознавательных...». Книга

эта выходила на русском языке в переводе с французского двумя изданиями (М. 1792 и М. 1811).

Стр. 63. **«Достопамятные приключения Ильи Бенделя, сына Стокгольмского рыбака, оставившего свое отечество и удалившегося на голландском флоте в Америку...»**, перев. с нем. в 2-х частях, М. 1789.

Стр. 66. **Мефитический** — зловонный, зараженный.

Стр. 70. **Морды ихвостуши** — плетенки из ивовых прутьев для ловли рыбы.

Стр. 72. **Яковкин Илья Федорович** (1764–1836) — с 1799 г. учитель истории и географии Казанской гимназии, а с 1805 г. — директор гимназии и профессор Казанского университета; автор ряда учебников.

Запольский Иван Ипатьевич (1773–1810) — воспитанник Киевской духовной академии и затем — Московского университета; с 1799 г. — учитель физики и математики Казанской гимназии, а с основанием университета — определен адъюнктом прикладной математики и физики.

Карташевский Григорий Иванович

(1777–1840) — воспитанник Московского университета, с 1799 г. — учитель математики в Казанской гимназии, а с 1805 г. — адъюнкт высшей математики в Казанском университете; впоследствии — попечитель Белорусского учебного округа, сенатор; в 1816 г. женился на сестре Аксакова — Надежде Тимофеевне.

Гимназия

Период второй

Стр. 74. **Приехав в Казань (1801 года)...** — Этот приезд Аксакова в Казань состоялся не в 1801, а весной 1802 г. (см. выше).

Стр. 81. **Ибрагимов Николай Мисаилович** (1778–1818) — один из самых популярных преподавателей Казанской гимназии; окончил Московский университет. Об Ибрагимове сохранилось свидетельство еще одного воспитанника Казанской гимназии. В. И. Панаев рассказывает в своих «Воспоминаниях»: «Он имел необыкновенную способность заставить полюбить себя и свои лекции» («Вестник Европы», 1867, сентябрь, стр. 217).

Стр. 89. **Через несколько лет я встретил-**

ся с Гурьем Ивличем Ласточкиным... — В архивном фонде ИРЛИ хранится рукопись эпизода с Ласточкиным, написанная неизвестной рукой и исправленная автором. В рукописи есть некоторые незначительные разночтения с печатным текстом. Но одно из них любопытно. В печатном тексте сказано, что начальство уговаривало Ласточкина «поступить в духовное звание, к которому он не чувствовал влечения». В рукописи же читаем, что к духовному званию Ласточкин «питает непреодолимое отвращение!» (ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, д. № 12). Фраза претерпела изменения, вероятно, по цензурным соображениям.

Стр. 90. *Лиза была воспитанница В—х...* — В той же рукописи (см. предыдущее примеч.) фамилия обозначена полностью: «Вишняковых».

Стр. 96. *Массильон* (1663–1742), *Флешье* (1632–1710) и *Бурдалу* (1632–1704) — французские церковные проповедники.

«*Смерть Авеля*» — сочинение швейцарского поэта-сентименталиста Геснера (1730–1788), в XVIII в. неоднократно выходило в русском переводе.

Стр. 97. *«Les aventures d'Aristonoy»* — повесть французского писателя Франсуа Фенелона (1651–1715), в русском переводе вышла под названием «Аристоноевы приключения» (СПБ, 1766).

Стр. 99. *Наш Эрх* — Эрх Иван Иванович (род. в 1755 г.), преподаватель Казанской гимназии, а затем — адъютант Казанского университета.

Стр. 103. В тексте «Русского вестника» к словам: *«...проводить вас до ночевки, до Мёши»* — имеется примечание автора: «Река в 25 верстах от города К.».

Стр. 110. В изображении знаменитого «дела о беспорядках» среди воспитанников Казанской гимназии Аксаков допустил некоторые неточности. «Дело» это произошло не в августе 1804 г., как утверждает автор «Воспоминаний», а в июне, до летних вакаций. Взрыв возмущения гимназистов был подготовлен их давним нерасположением к тупому и невежественному директору гимназии, А. Л. Лихачеву. Обстоятельное описание этого эпизода на основе архивных материалов см. в кн. Д. Нагуевский, Казанская гимназия нака-

нуне основания Казанского университета (1804–1805), Казань, 1900.

В сохранившейся рукописи «Воспоминаний» имеется черновая редакция этого эпизода, более подробная и в фактическом отношении несколько отличающаяся от белой. Приводим этот текст:

«За несколько дней до возвращения моего с Григорием Ивановичем из Аксакова в Казань, когда в гимназии собрались уже почти все ученики, больничный надзиратель Смирнов обидел ругательными словами и, кажется, ударил одного из лучших казенных воспитанников Александра Княжевича. Старший брат его Дмитрий, который во всех отношениях считался первым учеником, уже шестнадцатилетний, чрезвычайно пылкий молодой человек и самый нежный брат, горячо любимый всеми, вышел из себя от такой обиды и, подкрепленный общим сочувствием и содействием товарищей, предводительствуя толпою гимназистов, а их было около 80 человек, отправился в больницу, взял силою, но без всякой обиды, под арест больничного надзирателя и запер его в залу Совета. Потом напи-

сал письмо с изложением обстоятельств дела от себя и от имени всех старших воспитанников, прося, чтоб надзиратель Смирнов в пример другим был отставлен от своей должности, и отправил это письмо за подписью учеников высшего класса с дежурным надзирателем к директору. Инспектора не было дома; когда он воротился и узнал всю историю, то, казалось, принял в ней живое участие и успокоил разгоряченную молодежь обещанием, что начальство выгонит Смирнова. Смело утверждаю, что, если б Упадышевский служил тогда надзирателем, все дело приняло бы совсем другой и благоприятный оборот. Но, к несчастью, за несколько месяцев Упадышевский оставил гимназию по болезни. Через час воротился от директора дежурный надзиратель с письменным приказанием инспектору: «Больничного надзирателя выпустить, а воспитанников — обоих Княжевичей — посадить в карцер; всем же, кто вздумает противиться, объявить, что они будут отданы в солдаты».

Нетрудно себе представить, какая буря закипела в сердцах молодых людей! Собралось

шумное вече, и на нем было положено и потом объявлено инспектору и надзирателям, что Смирнов не будет выпущен до тех пор, пока Совет гимназии не составит законного определения об его отставке, и что покуда этого не сделают, воспитанники не станут признавать никакого начальства, не станут ходить учиться в классы и просят г-на инспектора и господ надзирателей оставить гимназию и не вступаться в их дело, обещая в то же время, что будут вести себя тихо и прилично. Инспектор струсил и ушел с двумя надзирателями, а двое остальных, любимые учениками, по собственному желанию получили позволение остаться при своих местах, с тем чтобы ни во что не вмешиваться. Головы всех воспитанников горели; они выбрали главным своим начальником Дмитрия Княжевича и потом несколько человек старших, которым обещали повиноваться; ходили ужинать в большом порядке, обыкновенным фрунтом, но, опасаясь, чтоб их не схватили как-нибудь ночью, они натаскали скамеек, приперли ими двери и окна в своих спальнях, а вместо оружия собрали все кочерги, по-

ловые щетки и запаслись множеством поленьев, швырковых дров, которые в большом количестве стояли на дворе; для большей же предосторожности расставили часовых, которые сменялись каждые два часа.

Глупый директор, услыша такие вести, совершенно потерялся. На другой день он прислал к возмутившимся ученикам для переговоров, увещаний и соглашений то одного, то другого учителя, то инспектора. Воспитанники принимали парламентаров очень почтительно и без всякого шума, но с твердостью объявляли, что до тех пор не выйдут в обыкновенный порядок и не выпустят Смирнова из-под ареста, покуда не соберется конференция и покуда не отставят виноватого от должности. На третий день собрался Совет и приехал директор. Залу Совета отперли; на столе лежала новая просьба, еще более почтительная и покорная, также за подписанием старшего класса; съехались присутствующие члены; ввели Смирнова и, когда он после допроса вышел из присутствия, взяли его опять под надзор. Потом все три класса собрались в соседственной зале, стали во фрунте и ожида-

ли решения Совета. Старший учитель Яковкин и учитель российской словесности Левицкий, очень любимый, приходили уговаривать воспитанников, чтобы они освободили Смирнова и разошлись по своим местам, предоставляя дело решению Совета и уверяя, что виновный непременно будет отставлен и что в случае их упорства они жестоко пострадают. Но воспитанники не поверили им и отвечали, что они готовы погибнуть все, только бы Смирнов был отставлен от службы актом. Долго сидела конференция; наконец, разъехались, ничего не сделав; больничного надзирателя опять заперли, и воспитанники пошли обедать позже двумя часами обыкновенного. Ночь провели точно так же, как и вчерашнюю. На третий день опять съехалась конференция; но как скоро собралась она в полном своем составе, возмущившееся юношество целую толпою ввалило в Совет, настоятельно требуя исполнения своей просьбы. Все струсили и потеряли голову, директор больше всех; написали и подписали определение,[34] в котором было сказано, что больничный надзиратель Смирнов за дерзкий и оскорби-

тельный поступок с казенным воспитанником Княжевичем 2-м отставляется от службы, о чем и представить на утверждение высшему начальству. Определение было прочитано самим Дмитрием Княжевичем и тут же объявлено Смирнову. В ту же минуту все пришло в свой обыкновенный порядок, начались классы, и учебная жизнь спокойно потекла по своей обычной колее. Скоро все успокоились и подумали, что дело не будет иметь никаких дальнейших последствий; но через неделю, во время обеда, вдруг вошла в залу рота солдат с ружьями и штыками; вслед за нею вошел губернатор и директор...» Далее следует текст, в основном совпадающий с текстом окончательной редакции (Л. Б., ф. Аксакова, 1/8 лл., 25 об. — 28).

Возникает, естественно, вопрос: чем вызывалась необходимость замены одной редакции другой? К сожалению, с полной достоверностью ответить на этот вопрос пока не представляется возможным. Но обращает на себя внимание следующее. В первой редакции бунт гимназистов носил, несомненно, более серьезный характер, чем в последующей.

Причем этот эпизод написан здесь с явным беллетристическим нажимом и, кроме того, содержит в себе ряд недостоверных деталей. Например, главным виновником инцидента в этой первоначальной редакции изображается не «квартирмейстер», а больничный надзиратель; не соответствует истине и история с арестом надзирателя и многое другое (ср. с указан. выше книгой Д. Нагуевского). Все это противоречило методу писательской работы Аксакова, заявлявшего, что у него «нет свободного творчества», что он не владеет «даром чистого вымысла» и может писать, «только стоя на почве действительности, идя за нитью истинного события» (ИРЛИ, ф. 569, д. № 108, лл. 2 об. — 3), что никогда ничего не выходило из его попыток «писать вымышленное происшествие и вымышленных людей» (Л. Б., ф. Чижова, 1/16) — Аксаков, вероятно, потому и отверг черновую редакцию, что почувствовал, сколь далеко он отступил в ней от исторической истины и изменил тому художественному принципу, которому следовал во всех своих произведениях.

Стр. 113. *«Песнолюбие, опера комиче-*

ская» — соч. А. В. Храповицкого (1759–1801), муз. Мартина (СПБ. 1790).

Стр. 113–114. «Преступник от игры, или *Братом проданная сестра*» — комедия в стихах Дмитрия Ефимьева (1768–1804); впервые поставлена на петербургской сцене в 1788 г., вышла из печати в 1790 г.

Стр. 114. *Шушерин*. — См. воспоминания о нем (наст. том, стр. 326), а также примеч. (стр. 486).

Плавильщиков Петр Алексеевич (1760–1812) — выдающийся актер и драматург.

Стр. 115. *Давали оперу «Колбасники»*. — Имеется в виду опера «Маркиз крестьянин, или Колбасник», перев. с итал. В. А. Левшина (СПБ. 1795).

«Ошибки, или Утро вечера мудренее» — комедия И. М. Муравьева-Апостола (СПБ. 1794).

«Нина, или От любви сумасшедшая» — опера французского композитора Далеярака (1753–1809), текст Марсолье.

«Граф Вальтрон» — драма Августа Коцебу (1761–1819), перев. с нем. (М. 1803).

Стр. 116. ...*журнал под названием «Аркадские пастушки»*. — Как уже отмечалось, Аксаков сопровождал свои «Воспоминания» «Приложениями», в которых поместил в качестве иллюстрации несколько стихотворных и прозаических сочинений, написанных его сверстниками для рукописного журнала «Аркадские пастушки». Некоторые из этих сочинений он сопровождал комментариями. По поводу статьи Нерейса (Николая Панаева) «Швейцария в Казани» Аксаков писал: «Вот каким образом родилось название Швейцарии в окрестностях Казани. Отыскав это гористое и живописное местоположение позади урочища Поцека, на котором стоял архиерейский дом, Александр Панаев мне первому сообщил об этом открытии. Наши рассказы привлекли других, и гимназисты окрестили это место именем «Казанской Швейцарии». Теперь оно сделалось любимым местом гулянья для всего города. Там настроены домики, беседки и, кажется, есть даже кондитерская; самое место разделилось на два гулянья: одна половина называется немецкою, а другая — русскою Швейцариєю».

Отрывок статьи Адониса (Александра Панаева) «Путешествие в болгары» вызывает следующее замечание Аксакова: «Если немножко поправить эти строки, списанные с дипломатической точностью, то они ничем не будут хуже прозы Владимира Измайлова и князя Шаликова, людей, которые в свое время имели свою славу».

Стихотворение Ириса (Ивана Панаева) «Осень» Аксаков комментирует так: «Иван Панаев славился у нас впоследствии одами, из коих некоторые по тогдашнему времени были очень недурны; но, к сожалению, их у меня нет. Его пиесу «Осень» я поместил для того, чтоб показать, как неудачно писал он стихи в другом роде, о чем у нас были большие толки и в чем наш лирик никогда не хотел сознаться» («Семейная хроника и Воспоминания», М. 1856, стр. 405–406, 409 и 411).

Стр. 117. **Румовский** Степан Яковлевич (1734–1812) — видный русский астроном, с 1800 г. — вице-президент Академии наук.

Герман Мартин Готфрид (1755–1822) — доктор философии Геттингенского университета, впоследствии — профессор греческого и

латинского языков в Казанском университете.

Цеплин Петр Андреевич (1772–1832) — доктор философии Геттингенского университета, впоследствии — профессор всемирной истории, статистики и географии в Казанском университете.

Стр. 119. Список первых студентов Казанского университета, приведенный Аксаковым, далеко не полный. Кроме того, некоторые фамилии и имена воспроизведены им неточно (ср. Н. Попов, Общество любителей отечественной словесности и периодическая литература в Казани с 1805 по 1834 г., — «Русский вестник», 1859, т. XXIII, стр. 54; см. также Н. П. Загоскин, История императорского Казанского университета, т. I, Казань, 1902, стр. 524–526).

Стр. 121. **Фукс** Карл Федорович (1776–1846) — профессор естественной истории и ботаники в Казанском университете, одно время был его ректором.

Университет

Стр. 123. *Эвест* Федор Леонтьевич (1774–1809) — воспитанник Московского университета, доктор медицины, непродолжительное время служил адъютантом в Казанском университете.

Бюнеман Генрих Людвиг (1752–1808) — профессор естественного, политического и народного права в Казанском университете, лекции читал на французском и латинском языках; был крайне непопулярен среди студентов.

...назначал камерных студентов... — т. е. тех, которые должны были осуществлять дисциплинарный надзор за младшими студентами в своих камерах (комнатах).

Стр. 126. «*Бот*, или английский купец» — комедия, перев. П. Долгорукого (М. 1804); «*Дмитрий Самозванец*» — трагедия А. П. Сумарокова (СПб. 1771); «*Досажаев*». — Имеется в виду комедия Шеридана «Школа злословия» в переводе И. М. Муравьева-Апостола (СПб. 1794), главный герой в этом переводе назван Досажаевым; «*Магомет*» — трагедия Вольтера, перев. П. Потемкина (СПб. 1798); «*Отец семейства*» — драма Дидро, перев. Н. Санду-

нова (М. 1794); *«Рослав»* (СПб. 1784) и *«Титово милосердие»* (СПб. 1790) — трагедии Я. Б. Княжнина; *«Сын любви»* — драма Коцебу, перев. с нем. (М. 1795).

Стр. 127. *Веревкин* Михаил Иванович (1732–1795) — известный в XVIII в. драматург, первый директор Казанской гимназии.

Стр. 128. *«Ненависть к людям и раскаяние»* — комедия Коцебу, перев. И. Репьева (СПб. 1792) и А. Малиновского (М. 1796).

Стр. 129. *«Эйлалия Мейнау, или Следствие примирения»* — трагедия, «служащая продолжением к комедии «Ненависть к людям и раскаяние», соч. Фридриха Циглера, перев. с нем. А. Ф. Малиновского (М. 1796).

Стр. 133. *Лафонтен Август* (1758–1831) — немецкий романист-сентименталист.

Стр. 142. *...до декабря включительно.* — Аксаков запамятовал. «Журнал наших занятий» выходил не только в 1806-м, но и в 1807 году. Об этом свидетельствуют найденные в одном из архивных фондов шесть подлинных экземпляров этого рукописного журнала. Среди них — три, которые были в руках Аксакова и описаны им в «Воспоминаниях» и «Прило-

жениях» к ним, а также три других, которые писатель считал утерянными. Один из них, датированный февралем 1807 г., особенно интересен, так как содержит в себе сочинения самого Аксакова (несколько исторических анекдотов, стихов и переводов с французского). Любопытно неизвестное прежде юношеское стихотворение Аксакова «К неверной». Приводим его полный текст:

*Вчера у ног любезной
На лире я играл;
Сегодня в доле слезной
Я участь проклинал.*

*Вчера она твердила,
Что я кажусь ей мил;
Сегодня разлюбила,
Я стал уж ей постыл.*

*Когда в восторге нежном
И в радости своей
В жилище безмятежном
Клялась ты быть моей!*

Тогда я восхищался,
Счастливей был царей;
С восторгом наслаждался

Любовию твоей.

*Но, ах, судьба жестока,
Судила мне страдать
И горести глубоки
В сей жизни испытать.*

*О сердце! Кто познает
Твою ужасну власть.
Любовь меня терзает,
А я питаю страсть.*

(Л. Б., ГАНС, V/5, «Журнал наших занятий», 1807, февраль, лл. 26 об. — 27).

Заметим еще, что в этом же номере журнала помещено и стихотворение «К соловью», которое неполностью приводит выше Аксаков. В журнальном тексте есть одна строфа (предпоследняя), очевидно, забытая автором:

*Что блаженство лишь в любви
одной
Человек может найти всегда;
Что коль нет ее, то жизнь наша
—
Цепь страданий продолжитель-
ных!*

(там же, лл. 24 об. — 25).

По-видимому, существовали варианты этого юношеского стихотворения Аксакова. Между текстом, цитируемым автором «Воспоминаний», и тем, который помещен в «Журнале наших занятий», имеется ряд различий.

Стр. 142. ...**выпуски из некоторых пьес.** — Каждый номер «Журнала наших занятий» открывался эпиграфом, сочиненным Аксаковым: «Многие пишут для славы, мы пишем для удовольствия; приятная улыбка на устах наших товарищей и друзей есть для нас драгоценный венок награды». В «Приложениях» Аксаков приводит оглавление трех номеров «Журнала наших занятий» (1806, июль, ноябрь, декабрь) и несколько образцов сочинений, помещенных в них. Об отрывке из оды И. Панаева «Война» Аксаков замечает: «Такого рода стихами долго писали в России, и долго получали похвалы за них наши лирические поэты: что ж мудреного, что за пятьдесят лет сочинитель их считал себя истинным талантом, а его товарищи, семнадцатилетняя молодежь, видели в нем будущего Ломоносова или Державина».

Статья «Дмитрий при реке Доне» вызывает

следующий комментарий Аксакова: «Эта ничего особенного в себе не содержащая статья Фомина, студента, впрочем очень остроумного и дельного, не знаю почему, пользовалась у нас общим одобрением. Сравнивая ее с другими прозаическими статьями, я решительно не могу отдать ей значительного преимущества; итак, надобно приписать ее успех счастью, которое до сих пор нередко сопровождает появление и книг и статей. Разумеется, под словом счастье должно понимать стечение благоприятных обстоятельств и причин, незаметных для человека».

О статье А. Панаева «О распространении и пользе русской литературы» Аксаков пишет: «Я помню, что в этой детски-молодой статье было несравненно больше преувеличенных, безусловных и восторженных похвал Карамзину и что только из уважения к моим настоящим требованиям Панаев согласился кое-что убавить. Что же касается до мысли и выражений, то разве издатель «Московского Меркурия» (г-н Макаров), да и другие поклонники и последователи Карамзина не такими же мыслями и выражениями опровергали

грубые, иногда натянутые, но всего чаще справедливые осуждения Шишкова?» («Семейная хроника и Воспоминания», М. 1856, стр. 412, 414, 416, 419).

Стр. 147. **«Общество любителей отечественной словесности»**. — Это общество было создано весной 1806 г. и первоначально называлось: «Общество вольных упражнений в российской словесности». Почти целиком сохранившийся архив общества позволяет составить довольно ясное представление о содержании и характере его деятельности (ИРЛИ, ф. 107, д. № 1). Частично этот архив был использован Н. Буlichem в кн. «Из прошлых лет Казанского университета», ч. I, Казань, 1887.

Аксаков подал заявление о приеме его в члены общества в конце 1806 г. В «Журнале текущих дел» есть запись от 17 декабря этого года: «Слушано было письмо г-на студента Аксакова о желании его быть членом нашего общества, но как г-н Аксаков не приложил при сем никакого опыта своего в литературе упражнения, то и положено известить его чрез г-на секретаря, что до выполнения им се-

го общество не может дать удовлетворительного ему ответа». Через месяц в «Журнале» появляется новая запись: «Иваном Панаевым представлены стихи г-на Аксакова «Зима», и общество приняло одного студента г-на Аксакова в число своих членов». 22 января 1807 г., как явствует очередная запись в протоколе, Аксаков впервые явился на собрание общества, а 29 января: «разобрана пиеса «Зима» г-на Аксакова и определена к вписанию в собрание трудов общества под № 25-м». Каждый протокол заседания подписывался всеми присутствовавшими членами общества. Под протокольной записью от 29 января 1807 г. впервые стояло уже и имя Сергея Аксакова, как полноправного члена общества. Неделю спустя находим в «Журнале» новую запись: «Г-н Аксаков подал своего сочинения в стихах: «К соловью», которую по рассмотрению определено вписать в собрание трудов общества под № 26». Это то самое стихотворение, которое воспроизведено писателем в его «Воспоминаниях».

В начале 1807 г. Аксаков оставил университет и уехал из Казани. 19 марта 1807 г. — оче-

редная запись в «Журнале»: «Секретарь объявил об отъезде г-на Аксакова из Казани и желании его быть иногородним членом, на что все члены вообще согласились». Через несколько месяцев, 25 июня 1807 г., имя Аксакова снова, и уже в последний раз, встречается в «Журнале». «Секретарь объявил обществу, что г-н А. Панаев уведомил его о отзыве г-на Аксакова, в коем, изъявляя он невозможность быть в сношении с обществом, просит его от него уволить, о чем и определено дать ему знать, г-ну Аксакову, чрез г-на Панаева, что общество на сие соглашается» (ИРЛИ, Архив Казанского общества отечественной словесности, ф. 107, д. № 1, лл. 2, 8 об., 9, 10, 13 об.).

Стр. 148–149. ***Мнимый граф был самозванец... по фамилии Ашенбреннер...*** — Неожиданный комментарий к этому месту «Воспоминаний» Аксакова находим в автобиографии известного народовольца М. Ю. Ашенбреннера, написанной в 1925 г.: «Дед мой Юлий Юльевич Ашенбреннер, эмигрировавший из Германии при Александре I, был розенкрейцером. Сначала он преподавал математику и фортификацию в кадетском корпу-

се, а потом был назначен командиром Омской артиллерийской бригады. В Казани он встретился с красивой и образованной немочкой Марией Христофоровной и женился на ней. Весьма понятно, что будущий первоучитель славянофильства юный Сергей Тимофеевич Аксаков, весьма неравнодушный к Марье Христофоровне, дал такую убийственную характеристику Юлию Юльевичу...» (Энциклопедический словарь «Гранат», изд. 7, т. 40, Приложение, стр. 12).

Стр. 149. **Видок тою времени.** — Видок Франсуа Эжен (1775–1857) — французский уголовный сыщик. Имя его стало нарицательным для обозначения ловкого сыщика, а также мошенника.

Стр. 152. **Каменский** Иван Петрович (1773–1819) — профессор Казанского университета по кафедре анатомии, физиологии и судебной «врачебной науки».

Городчанинов Григорий Николаевич (1772–1852) — профессор русской словесности в Казанском университете, сочинял бесталанные стихи и комедии, был посмешищем в глазах студентов.

...похожий на известного профессора Г-го и К-ва. — Вероятно, намек на профессора русской словесности П. Е. Георгиевского (1792–1852) и профессора истории И. К. Кайданова (1782–1843), слывших бесталанными педантами и староверами.

Стр. 153. Речь идет о пародии на одну из од Ломоносова, сочиненной поэтом-сатириком, флигель-адъютантом Александра I Сергеем Никифоровичем Мариным (1775–1813).

Стр. 154. *«Бедность и благородство души»* — комедия Коцебу, перев. с нем. (М. 1798).

Примечания

Надпись по длинноте и крупноте букв не уместилась, а потому была написана следующим образом: «Д. Л. Милости просим». Читая буквы по-старинному, то есть «Добро Люди», получался почти тот же смысл, какой выражался бы в полной надписи.

[^^^]

Утренние классы зимой начинались в восемь часов; в десять переменялись учителя; в двенадцать классы оканчивались; в половине первого обедали; летом же классы начинались в семь часов, оканчивались в одиннадцать; обедали ровно в двенадцать, после обеда учение всегда начиналось в два и оканчивалось в шесть часов; ужинали в восемь, ложились спать в девять, вставали в пять часов летом и в шесть зимою.

[^^^]

Бедное дитя (франц.).

[^^^]

4

В спальнях держали двенадцать градусов тепла, что, кажется, и теперь соблюдается во всех казенных учебных заведениях и что, по моему, решительно вредно для здоровья детей. Нужно не менее четырнадцати градусов.

[^^^]

5

Из четырех человек надзирателей двое дежурных никуда не отлучались, но остальные, во время классов, могли уходить по своим надобностям; к обеду же и ужину все собирались налицо.

[^^^]

6

По проселкам, при глубоком снеге, подкованных лошадей в это время года дорога не поднимает.

[^^^]

7

Копии со всех бумаг долго у нас хранились.

[^^^]

8

Мать моя с почтового двора немедленно переехала к ней.

[^^^]

9

Так называются завозни, дощаники, паромы и проч.

[^^^]

10

Теперь не существует последнего названия, потому что владельцы размежевались.

[^^^]

Для успешного ужения крупной рыбы вообще полезно гнущее удилице и очень вредно твердое; но как здесь язь был вытасчен вопреки всем правилам ужения, прямо через плечо, то твердое удилице, мало сгибаясь, оказалось полезным, ибо леса, по крепости своей, могла выдержать рыбу.

[^^^]

Я не воображал тогда, что грибы будут одним из самых постоянных моих удовольствий на старости лет. В благодарность за то у меня давно заронилась мысль — и я не отказываюсь еще от нее — написать книжку о грибах и об удовольствии брать их.

[^^^]

Судьба этого медного ларца достойна внимания. Мать принесла его в приданое в 1788 году, с ленточками, позументиками, кружевцами; в девяностых годах и даже в 1801 году он наполнялся калеными орехами; в 1807 году в нем лежало более ста тысяч рублей деньгами и векселями и на большую сумму бриллиантов и жемчугов; а теперь он стоит под письменным рабочим столом моего сына, набитый старинными грамотами.

[^^^]

То есть уральских.

[^^^]

Очевидно, что разделение гимназического курса на три класса было недостаточно. Это впоследствии дознано опытом, почему теперешний гимназический курс и разделяют на семь классов.

[^^^]

Фамилия его и наружность ясно указывали на его татарское или башкирское происхождение; он имел большую голову, маленькие пронизательные и очень приятные глаза, широкие скулы и огромный рот. Горячо любил литературу, был очень остроумен и вообще человек даровитый.

[^^^]

За две недели молодой Елагин, свояк Ивана Ипатыча, определился в гимназию и поступил в число его воспитанников.

[^^^]

Через несколько лет я встретился с Гурьем Ивличем Ласточкиным самым оригинальным образом. Предварительно надобно сказать, что в последнее время, как я уже и говорил, он очень полюбил меня и, несмотря на то, что мне был двенадцатый, а ему двадцать второй год, дружески поверял мне все свои обстоятельства и между прочим то, что начальство уговаривает его поступить в духовное звание, к которому он не чувствовал влечения. Не знаю, почему мне засело в голову, что Гурий Ивлич будет непременно священником, и я уверял его в этом. Он спорил, даже сердился и, чтоб убедить меня в противном, взял однажды лист бумаги и написал на нем: «Скорее река Казанка потечет вверх, чем Гурий Ласточкин пойдет в духовное звание». Этот лист он отдал мне спрятать как обязательство, что он сохранит свою свободу; явное доказательство, как он сам был еще молод. Месяца через два мы расстались. Прошло три года или около четырех; я ни разу не слышал о Гурье Ивличе и совершенно забыл об

его существовании. В одно скверное осеннее утро получил я записку от моей родной тетки Н. Н. Зубовой, которую очень горячо любил; она жила тогда в доме В—х, и я часто видался с нею. «Милый мой Серж (писала она), сегодня, в шестом часу после обеда, приезжай к нам в мундире и со шпагой. Сегодня у нас свадьба; ты шафер у Лизы, будешь ее обувать и провожать в церковь». Лиза была воспитанница В—х, бедная, молодая и прекрасная собою девушка. Я приехал, немножко опоздал, меня побранили и сейчас провели к невесте; я обул ее ножки в шелковые чулки и башмаки. Невеста была еще не совсем одета, но голова находилась уже в полном свадебном убранстве; я помню, что был поражен ее красотой. Едва я успел перемолвить несколько слов с любимой моей тетушкой у ней в комнате, как хозяйка В—ва позвала меня к себе и попросила, чтоб я поскорее поехал в ее карете к жениху и сказал ему, что невеста одета и чтоб он ехал сейчас в церковь и оттуда прислал шафера сказать, что он ожидает невесту. Второпях я не успел спросить, кто такой жених, и ту же минуту поскакал к нему. Со мной

был человек В—х, знавший жениха и его квартиру; он привез меня в какой-то большой каменный дом, в котором много было народа, провел через несколько комнат и, отворив дверь, сказал: «Вон жених, перед зеркалом одевается...», и я увидел спину плотного мужчины, в коротких штанах, шелковых чулках и башмаках, которому торопливо и усердно повязывали белое толстое жабо. Я подошел, жених обернулся, — это был Гурий Ивлич Ласточкин, очень пополневший. Мы оба вскрикнули от изумления. «Ах, милый мой Аксаков, — сказал он, обняв меня, — как я рад, что вас вижу, но, извините меня, в эту минуту я не могу...» Я перебил его слова, сказав, что я шафер его невесты и приехал поторопить жениха. Ласточкин, продолжая поспешно одеваться, продолжал говорить со мной. «Как, я думаю, вы удивлены?» — сказал он. «Да, — отвечал я, — я не знал, кто жених; но я очень рад, что вы женитесь на прекрасной и предоброй девушке». — «Ах, так вы еще ничего не знаете! — воскликнул Ласточкин, взял меня за руку, отвел в сторону и тихо сказал мне: — Вы, верно, помните мое письменное

обещание не поступать в духовное звание; ну так знайте же: завтра я священник, а послезавтра протопоп в соборе Петра и Павла...» — и слезы показались у него на глазах. Какие обстоятельства изменили или заставили пожертвовать Гурья Ивлича своим прежним убеждением — я не знаю; но, видно, жаль было ему своей свободы. С тех пор мы не видались. В продолжение пятидесяти лет я постоянно слышал, что Гурий Ивлич Ласточкин был всеми любим за свои душевные качества и уважаем за свою ученость; кажется, он был даже ректором в Духовной академии, не очень давно учрежденной в Казани.

[^^^]

Тогда находился в печати только один том од Державина и еще небольшой томик анакреонтических стихотворений, напечатанный в «Петрограде», как значилось на заглавном листе. Видно, Державину не нравилось иностранное имя новой русской столицы.

[^^^]

Григорий Иванович отлично знал новейшие языки и свободно писал на них. Латинским же языком он приводил в изумление Виленский университет, которого впоследствии был последним попечителем. Удивительно, как и где он мог приобрести такие сведения в языках?

[^^^]

Так звали меня в шутку все товарищи Григорья Иваныча, величая его в то же время Ментором и Минервой.

[^^^]

Эрих был большой лингвист как в новейших, так и в древних языках. В гимназии он учил в высшем классе французскому и немецкому языкам, а в университете был сделан адъюнктом латинской и греческой словесности.

[^^^]

Увы! земля эта отошла после многолетней тяжбы с соседственной Бавлинской тюбой башкирцев, которые доказали, что они настоящие вотчинники. Бедная тетка моя купила неподалеку девятьсот десятин и должна была перевезть свою деревушку и перенести усадьбу,

[^^^]

Ружье, ствол которого к концу толще и потому шире, называется, или называлось: с видом.

[^^^]

Я очень любил молоко и так много клал сливок в чай, что Григорий Иванович называл его молочным питьем, а меня иногда поеным теленочком, что я считал за большую милость.

[^^^]

[Какой-то проказник написал крупными буквами углем на главном театральном подъезде:

«Пиеса Ермака
Не стоит пятака».

Эта глупая острота, говорят, сильно оскорбила Плавильщикова.]

[^^^]

Несмотря на общее и мое собственное увлечение, я заметил, что Плавильщиков в Эдипе иногда сбивается с тону своей роли и часто вместо дряхлого старика играет молодого и сильного человека, что в некоторых местах оглушительный крик, кроме его неестественности, лишает силы, мешает действию речей изнеможенного старца. Живость движений при отыскивании дочери показалась мне и многим даже смешною.

[^^^]

В одном из параграфов устава было сказано: «Директор назначает роли, и все актеры должны беспрекословно повиноваться его назначению».

[^^^]

Вообще Дмитриев был существо загадочное; он занимался всеми предметами отлично, но ни с кем, кроме Чеснова, не говорил ни слова и всех дичился, а потому никто не знал его; с Чесновым же он был неразлучен, беспрестанно с ним хохотал, щипался, щекотался, толкался и дрался, как десятилетний школьник; часто получал за это выговоры и, как скоро переставал играть с Чесновым, делался угрюм и мрачен.

[^^^]

Рампетка — сачок из флера или дымки для ловли бабочек.

[^^^]

Это слова из романа «Природа и любовь» Августа Лафонтена.

[^^^]

Грузинов был наемный актер на театре г-на Есипова; он с большим успехом занимал амплуа благородных отцов.

[^^^]

Рановременный выход из университета и намерение определить меня на службу было следствием советов Григорья Иваныча, который даже обещал доставить мне место в Комиссии составления законов, что после и сделал.

[^^^]

Кроме Григорья Иваныча, который считал такое действие унизительным и недостойным обманом и в то же время уступкою со стороны Совета. Вообще он не одобрял действий директора и предлагал совсем другие меры, которые могли бы в самом начале потушить это несчастное дело без дальнейших последствий.

[^^^]